

АНДРЕЙ БИТОВ < ДАЧНАЯ МЕСТНОСТЬ >

**ДАЧНАЯ  
МЕСТНОСТЬ**

АНДРЕЙ БИТОВ



**АНДРЕЙ БИТОВ. ДАЧНАЯ МЕСТНОСТЬ**  
**ПОВЕСТИ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» МОСКВА — 1967**

**P2**  
**Б 66**

**7—3—2**  
**122—67**

## НЕСКОЛЬКО НАПУТСТВЕННЫХ СЛОВ

Это третья книга Андрея Битова. Первая — «Большой шар» — вышла в 1963 году, вторая — «Такое долгое детство» — в 1965 году. С тех пор окреп талант молодого писателя, определилась его тема, явственными стали черты, намечавшиеся раньше: острая мысль, художническая зоркость, страстный интерес к внутренней жизни человека.

Литературная манера Битова самостоятельна. У нее свои герои, своя интонация, не похожая на интонации других писателей. Самостоятельность и непохожесть порождены не какими-либо особыми «формальными поисками», не умозрительным расчетом, а стремлением автора предельно полно и точно передать читателю размышления и чувства героев.

Главный герой Битова — его сверстник, молодой человек наших дней. Увлеченно, с подкупающей откровенностью писатель анализирует его глубинную жизнь, движимый желанием постичь ее во всех подробностях. При этом он симпатизирует людям деятельным, творческим, независимым; пассивность Алеши, героя повести «Сад», его неприспособленность к жизни, ребяческая зависимость этого физически сильного, взрослого человека от папы, мамы, тети — вызывает несколько брезгливую жалость Битова... Но не только своего молодого активного героя любит он, а и людей вообще — рабочих на буровой вышке, пассажиров в аэропорту, прохожих на улице, детишек. Любит жизнь в ее многосложности, природу в ее разнообразии.

Эта любовь, такая сильная и непосредственная, не может оставить читателя равнодушным. Обратите, например, внимание, как написан переполненный аэровокзал в повести «Путешествие к другу детства»: и женщина с ребенком, и парень, читающий толстую книгу, и летающие над страной старухи, постоянные пассажирки Аэрофлота, и закутанная девочка, принимающая эстафету от старух, и ее неумелый, но любящий отец, и загадочное бытие стюардесс... и сам рассказчик, и друг его, и детали их дружбы и работы, и их трудное военное детство, — и за всем этим как бы без всяких авторских усилий, как бы сама собою поднимается громадная родная страна с громадной своей судьбой. Так пишет Битов, так от душевных и умственных глубин человека он приходит к общему, коллективному, говорит о нашем Сегодня и нашем Завтра.

Стилем он владеет совершенно. С первого взгляда кажется, что ему ничего не стоит просто и доступно выразить сложнейшие вещи; что он пишет, как птица поет. Он знает тайны этой легкости. И тайны того сочетания слов, что отличает художника от ремесленника. Своеобразный, тоже не заимствованный, свой собственный юмор мягко окрашивает его произведения — еще одна немаловажная черта для искушенного читателя, показатель ума и зрелой силы.

От души желаю этой талантливой книге доброго успеха!

*Вера Панова*

# **ОДНА СТРАНА**

**(Путешествие Бориса Мурашова)**



# ВОРОТА АЗИИ

**НАЧАЛО** С детства я бредил Азией. Семеновы-Тянь-Шанские, Пржевальские и еще... Грум-Гржимайло — они ездили на своих верблюдах, стреляли своих яков, попадали в свои самумы и делали свои великие географические открытия. Грум-Гржимайло и Мурашов! Пржевальский кладет мне руку на плечо, а другой обводит даль. Там хребет Бориса Мурашова. Великий путешественник Мурашов-Монгольский на фоне открытого им дикого верблюда. Книжка из серии «Жизнь замечательных людей» — фотографии: мать путешественника, отец путешественника, великий путешественник в детстве.

Я прибежал с книжкой к маме:

— Вот Пржевальский пишет... Как стать великим путешественником, какие нужны качества... А у меня все это есть: путешественником я родился, страстно я увлекся, научно я подготовлюсь, характер я воспитаю, трудолюбие я разовью, а энергия — приложится... — говорил я, загибая пальцы.

Вот я студент Горного института. Я уже знаю, что белых пятен, наверно, и нет. Что последнее, может, досталось Грум-Гржимайле (чудо, а не фамилия!). И что вообще это детство. Но еще не знаю, что детство, может, то небольшое, чего не следует стыдиться.

Я мечтаю о Японии, стране безукоризненного вкуса и тысячелетьями отточенного движения... Вот я сижу на корточках в такой красивой японской одежде. Раздвигаются створки разрисованной журавлями двери. Это за моей спиной, но я не оборачиваюсь: я знаю, почему они открылись и кто там. Я знаю, как она подойдет, как поклонится, как поставит передо мной чашку и снова поклонится, и как будет выходить, пятясь и кланяясь, и как сдвинет за собой створки, словно уходя в стену. А я не меняю ни позы, ни выражения лица: я все это знаю. Тыщу лет, как это всем известно. Известна эта комната и как в ней что стоит. И эта женщина. И я, который все это знает...

Япония... Это кончается тем, что я женюсь на курносой и рыжей девчонке, такой нелепой и такой



славной. И теперь Япония все реже заходит ко мне.

А открытия? Моя специальность — ковырять землю, и я уже знаю, что это — работа. Ведь я все-таки вырос.

И вот практика. Уезжаю на все лето в Среднюю Азию. Еду работать. Но еду я в Азию, с которой меня связывает детство.

**С ЧЕМ Я ЕДУ?** Ишак. Верблюд. Изюм — кишмиш. Аул — кишлак. Каракумы — Кызылкум. Басмачи — калым. Чайхана — скорпион. Арык. Тибетейка — халат. Базары. Ташкент — город хлебный. Насреддин в Бухаре.

Я знаю и больше и не больше этого.

**ЕЩЕ ТРИ НАЧАЛА** В первый раз Азия началась в Москве на Казанском вокзале. Сначала в очереди за билетами. Потом на перроне, у поезда.

Навстречу мне прошла девочка в ярком широком платье до земли. Я обернулся ей вслед: из-под тибетейки змеилась тьма черных косичек.

Непонятливые старики окружили тележку газированной воды и пытаются перелить ситро из стаканов в бутылки. Стаканов всего два, и продавщица первничает, кричит, торопит их. Потому что стоит длинный хвост и расстраивается бойкая торговля. А старики все соглашаются, кивают ласково и не спеша делают свое нелегкое дело.

И еще по перрону прогуливаются другие в тибетейках. Много студентов.

Проводники — тоже в тибетейках. Они по-хозяйски берут билет, чуть ли не с превосходством не замечают меня. И с искренней страстностью договариваются о чем-то с людьми возбужденного вида, снующими туда-сюда по перрону.

И вот мы едем. Соседом моим — казах. Он возвращается из отпуска. Огромные его чемоданы занимают немало места — это он выполнял поручения односельчан, все для них накупил. Парень очень гордится, что побывал в Москве. Все рассказывает, словно репетирует. Он беседует с другим моим соседом, машинистом паровоза, русским. Этот машинист как-то сразу стал для него большим авторитетом. Говорят они в основном о городах, в которых побывали.

— Вот в Ленинграде вокзал — это да! — говорит машинист.

— А в Новосибирске какой вокзал... самый лучший! — говорит казах.

— Ну уж сказал! Что в Новосибирске...

— Да, действительно... — соглашается казах. — Вот в Актюбинске — это да!

— Ну уж и вокзал...

— Паршивый вокзал, — кивает казах.

Так мы и ехали. Пили пиво в вагоне-ресторане, после чего все рассказывали случаи, перебивая друг друга, потом спали. Потом просыпались.

Во второй раз Азия началась, когда на станциях газированную воду стали продавать не стаканами, а большими пивными кружками. Это уже были другие категории: другая жара, другая жажда. Мы катили по Казахстану, по Голодной степи. И я все диву давался, что и тут живут люди. Радостный (родина!) сошел наш казах.

Мы катили по голой, гладкой степи, и я все прислушивался, не понимая, откуда это посвистывание. Оказывается, суслики. Они бегали по степи в необычайном количестве. Жирненькие, серенькие, они стогрели от любопытства. Подбегали к насыпи, выстраивались шеренгой, смотрели на наш поезд, стоя на задних лапках, и посвистывали от удивления.

Проводники стали совсем важные: ближе к родине. Купе мое опустело. Но на одной из станций проводник вселил ко мне целую юрту. Два старика, широколицые, шоколадные, с торчащими вперед узенькими бородками, одна старушка и три мальчика. Первым вошел толстый старик. Он поздоровался, снял шляпу. Под шляпой оказалась тубетейка. Снял с сапог востроносые галоши, снял ватный халат и оказался в вельветовом немецком костюме. Затем вошли все остальные. На всех был вельвет.

— Дедушка, вы до какой станции? — спрашиваю я старика.

Старик ласково улыбается, кивает. Я думаю, он не слышит, и кричу:

— До какой станции?!

Лицо деда совсем расплывается и становится фантастически широким:

— Молодец, молодец! — кивает он.

И все улыбаются и кивают. И другой старик и старушка.

Какие славные!

Потом появляется проводник, говорит им что-то по-своему, и они начинают собираться. Одеваются в обратном порядке, чем раздевались. Пожимают мне руки. И выходят.

Так и катим. День наполняется какими-то мелкими событиями и даже волнениями. Вечер. Я все стоял в тамбуре и пропустил чай.

— Все кончилось,— говорит мне проводник,— что же я, все время должен кипятить?

Я совсем расстроился. И зря. Потому что тут случилась станция и сели два таджика, старый и молодой. Они потолковали с проводником, и в нашем купе появился чайник.

— Иди к нам чай пить,— говорит старый.

Я с удовольствием присоединяюсь. На столике появляются лепешки, яблоки. Все прекрасно. Это дядя и племянник. Дядя — учитель. Племянник едет поступать в институт.

Мы пьем чай. Дядя и племянник возбужденно обсуждают что-то.

Говорят они примерно вот что:

— Шавран савон ФИЗИКА — ХИМИЯ. Соцунанда вшор буд ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

— Зиргидавд ор?

— Чоршанбе сормадони КОНКУРС.

— Фикра нолабур СТИПЕНДИЯ?

— Табассум.

— Бигзада васваса аз ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА?

— Табассум.

— Почему чай не пьешь? — говорит мне дядя.

— Я уже напился.

— Чай не пьешь — откуда силы берешь? — удивляется он. — Пей еще.

Я наливаю пятый стакан, и дядя с племянником так, наверно, по десятому. Дядя берет газету:

— Порсоштани ГАЗЕТА? — разворачивает он ее. — Дар СТАДИОН «СПАРТАК» галабаш ФУТБОЛ сарсухай КОМАНДА КЛАССА «Б»...

Я уже не могу видеть чай. А они все пьют. Третий чайник.

— Откуда силы возьмешь... — сокрушается обо мне дядя.

Но вот и они напились. Укладываются. Гасим свет.

А рано утром меня расталкивает проводник:

— Приехали.

С толпой прибывших выхожу на привокзальную площадь.

В третий раз начинается Азия.

Стою в нерешительности. Таких городов я еще не видел. Все незнакомо. Низенькие, обмазанные глиной домики розовеют от рассветного солнца. Налево — сад и чайхана. Направо — автобусная остановка. Прямо под вывеской «Такси» к столбику привязан осел. По площади снуют люди. Всех мыслимых национальностей. Во всевозможных костюмах. Разные языки. Пестро, шумно.

Я стою в раздумье, как и куда тронуться.

За мной что-то лязгает. Я вздрагиваю и оборачиваюсь: тетка в шпнели запирает на цепь ворота, через которые я вышел на площадь.

Я вошел, и ворота за мной закрылись.

### ЕЩЕ ОДНИ ВОРОТА — Где тут отдел кадров?

— Прямо и налево.

Прямо и налево. Темный коридор. В коридор распахнута дверь. Из нее на пол ложится полоса света. Прикрыв дверь, читаю: «Отдел кадров». То, что нужно. Снова открываю дверь, вхожу. Шкафчики. Железный сундучок на полу. За столом белокурый гигант с мужественным лицом. Сосредоточенно что-то выстригает ножницами. Подхожу вплотную, смотрю. Из красного листа выстригается огромная буква «Щ». Это становится ясно через некоторое время. Гигант сосредоточен. Наконец с могучим вздохом он завершает последний хвостик. Отставив руку, смотрит, щуря глаз.

— Так... — говорит он. — Ну, что?

— По-моему, хорошо, — говорю я.

Гигант вздрагивает, недоуменно смотрит на меня, краснеет.

— Вы что, читать не умеете? — рычит он.

— Умею, ща, — говорю я.

— Ну, так выйдите и прочтите, что написано на двери, — говорит он уже спокойнее и доброжелательней.

Выхожу, читаю. Возвращаюсь.

— Ну и что? — улыбается гигант.

— Написано «Отдел кадров».

— А ниже? Ниже! — Он улыбается еще шире.

Выхожу, читаю. Возвращаюсь.

— Посторонним вход воспрещен,— говорю я.

— Вот видите,— смеется он,— подойдите к тому окошку.

Действительно, в стене маленькое окошко, с решеткой. Захожу со стороны окошка.

— Вот,— говорю.

— Ну, что? — гогочет гигант.

— Мне бы начальника отдела кадров...

— Это я. Так что?

— Вот, приехал...

— Налево и прямо. Подпишите заявление у начальника.

— А почему вы за решеткой?

— Чудак,— смеется он,— документы...

Налево и прямо. Стучусь. Вхожу.

За столом толстый седой человек. Я решительно подхожу вплотную к его столу. Толстый подымает на меня глаза. Я долго объясняю, кто я и что я, зачем и почему. Я решил объяснить столь обстоятельно, чтобы меня больше не разыгрывали. Он слушает меня внимательно, разглядывает меня своими голубыми глазами. Он мне нравится. И вот я все рассказал.

— Так...— говорит он.— Так это вам к начальнику.— И показывает на маленького, черненького, совсем мальчика, который сидит за соседним столом.

Я вспотел. Подошел ко второму столу. Начальник не поднимал головы, читал какую-то бумагу. Я вытащил направление и положил ему на бумагу. Он продолжал читать.

— Ничего не понимаю,— сказал он вдруг.

Поднял на меня глаза.

— Ах, это ваша?— Глаза усталые, грустные.

— Моя.

— Раньше, чем через неделю, рабочего места не могу предоставить.

Зазвонил телефон.

— Так что приходите через неделю, устроим,— сказал он, поднимая трубку.— Да, я. Да, начальник. Ну сколько можно вам говорить, что сейчас не могу! Спать хочу, понимаете! Да убирайтесь вы... — Он швырнул трубку.

Ну и мальчик! Поднял на меня глаза:

— Вы еще здесь? Через неделю.

Я замаялся.

- А-а-а... понимаю. У вас нет денег?
- Нет, что вы! Есть! — почему-то сказал я.
- Ага, тогда вам, наверно, негде спать.
- Смешно,— сказал я,— пол-Азии родственников!
- Гм, ну что ж, тогда через неделю.
- Я вышел. Куда идти?
- Эй! — окликнули меня. Это был белокурый гигант из кадров.— Вы, наверно, тут ничего не знаете? Пошли вместе. Кстати я вам покажу, где здесь самое лучшее пиво...
- Он показал мне и гостиницу, и пиво.
- Через три дня у меня кончились деньги.

## ЗАПИСКИ ЧРЕВОУГОДНИКА

**КАК Я НАЕЛСЯ** Я шел по одному адресу, который раскопал в своей книжке. Это был один товарищ, русский. Мы познакомились с ним в поезде, еще на пути сюда.

«У него и поем», — думал я.

Это была совсем новая улица, на которой он жил, и никто не мог мне объяснить, как к ней пробраться. Один было объяснил, и я долго вышагивал по старому городу...

Улицы метровой ширины и дома двухметровой высоты. Я шел, чуть не царапая плечами дувалы слева и справа. В гладких боках улочек время от времени были прорублены дырки и вставлены дверцы. У дверей сидели босоногие, в ярких платящах девчонки с сорока косичками, в серьгах, с покрашенными пальцами рук и ног и возились со своими толстыми братишками; или у дверей никто не сидел, а она была распахнута, и можно было видеть коридорчик между двумя дувалами, словно это еще более крохотная улочка, и там еще распахнутую дверь, а за ней садик и в нем та же девчонка возилась со своим братишкой; что-то кипело в котле на треножнике, свисал виноград с деревянной решетки, был вынесен в садик топчан и расстелен ковер, а откуда-то из закутка выглядывал мотоцикл...

Я шел по старому городу и никак не выходил на нужную мне улицу. Я стал снова спрашивать, и оказалось, что иду я не в ту сторону.

Я повернул обратно, ругаясь про себя и вслух, со злостью вспоминая того типа, который указал мне неверно дорогу. В воспоминаниях он казался особенно жирным, самодовольным, и я ругал его сытость и самодовольство. Я награждал его все новыми недостатками и уродствами, пока не успокоился и это не превратилось просто в игру под ритм шага.

А в животе было так пусто... Я ощущал там своды. Как в храме. И словно там жили гул и эхо. И во рту перегорело.

Я выбрался на магистраль. Мимо бегали автобусы. Я мог бы сесть в любой из них и ехать, так как очень устал, но у меня не было и на билет. Стоял самый что ни

на есть зной. Не полуденный, как почему-то считается, — тогда сносно, — а послеполуденный, часа четыре. Я проходил мимо кваса, мороженого, газированной воды, стараясь не глядеть: они ранили мне сердце.

Но все имеет конец. И вот я у цели.

Я отыскал и улицу, и дом.

Здесь меня накормят и напоят.

Я отыскал его самого во дворе. Он возился там с машиной. Он не ожидал. Он приветствовал меня слишком бодро и радостно, чтобы мне это показалось. Мне это не показалось. У него протекал масляный фильтр, и лицо его было скорбно. Он очень извинялся и просил меня подождать немного, потому что он уже начал и когда еще соберешься взяться. Он залезал с головой под капот и забывал обо мне, а вылезая, видел меня, внезапно вспоминал, по лицу его проشمывала тень, и он начинал меня развлекать. Эти его вопросы и слова делали еще более неудобным мое сидение на табуретке около машины, гораздо более неудобным, чем когда он забывал про меня. Если бы он меня не «развлекал», я бы тоже забывал про него — да и про все на свете — в терпеливом и тупом ожидании еды.

А мысль о том, что мне давно надо встать, извиниться и уйти, пообещав зайти в следующий раз (сейчас я только на минутку, спешу), чтобы потом никогда сюда не приходиться, — эту мысль я прогнал в настойчивом своем стремлении пообедать. И потом я уже так долго просидел у машины, что встать и уйти, помимо всего прочего, казалось мне просто неловко. А он, хам такой, уже вроде насмехаясь, поважнев, словно разгадав мой умысел, как-то уже не стеснялся и не извинялся передо мной. А меня все больше злило и заводило такое положение бедного родственника.

А он делал какую-то и вовсе бессмысленную работу: протирал гаечки, купал их в масле, свинчивал, развинчивал, сдувал пыль. В общем, наслаждался своей машиной и воскресеньем и упорно не обращал на меня внимания.

А когда изредка все-таки извинялся передо мной, это было уже явно формально, это звучало как-то особенно оскорбительно, насмешкой.

А я упорно сидел на табуретке, и не уходил, и не мог уже создать хотя бы видимость непринужденности. Не мог заставить себя говорить хоть о чем бы то ни бы-



ло. И я сидел и выискивал в газете хотя бы одну не прочтенную еще информацию.

Удивительно, думал я, как это человек может так захлопнуться, стать пренебрежительным и нечутким, когда почувствует, что ты от него зависишь, что тебе что-то по настоящему нужно. Ну хотя бы он и понял, в чем дело... Но ведь если бы я был в ином положении, то, наверно, он постыдился бы держать меня у машины и, наверно, давно выставил бы все на стол и всячески проявлял гостеприимство. И только показать чтобы, что не беднее он, не хуже... Сколько раз мне предлагали обедать, когда я был абсолютно сыт, и сколько раз, хотя сама мысль о еде была мне неприятна, я садился за стол и обедал во второй раз, почему-то боясь обидеть хозяев. А настойчивость их росла, чем больше и уверенней я отказывался. Уверенней... Может, моя неуверенность позволяет ему не замечать меня сейчас? Боже, и как много я не доел в своей жизни на всяких праздниках, свадьбах!.. Что бы — все распределить по жизни. Боже, до чего же все в ней неравномерно...

А этот — гад.

И я стал играть в ту же игру, что и плутая по старому городу: выискивал в хозяине наисквернейшие стороны, фантазировал, перебирал все возможные подлости, которые тот наверняка должен был сделать. И все распалялся.

А чтоб тот не подумал, что мне есть не на что, я стал врать что-то насчет моей геологической деятельности и тех длинных рублей, которые я с нее имел. И меня все больше заносило. Еще в поезде я начал ту же песню (тогда это было просто мальчишество), но тогда я говорил, что спустил астрономическую сумму в Москве, что там же оставил свои вещи «у одной знакомой», что в экспедицию только в тряпье и ездить, а теперь я плел что-то уж совсем неподходящее (слава богу, и в этом было мальчишество): как меня вчера ограбили на пляже, например. Тогда он угощал меня в вагоне-ресторане (о, тогда я был еще сыт и врал бескорыстно), тогда он верил мне и «уважал» за мои рассказы и восхищался мной. А теперь он снисходительно поглядывал на меня, ковыряясь в своей машине, стоя во дворе своего дома, отгоняя свою овчарку, прикрикивая на своего сына.

что люди перестают считаться с ним? Но, главное, почему бы мне не встать и не уйти?..»

И, понимая, что он понимает, я раскатывался все дальше.

А мальчишка его, болезненный, с грустными мягкими глазами, все путался под ногами, опрокидывал ведра, разливал масло, бегал за собакой с гаечным ключом... и тоже не уважал меня.

Так мне казалось.

Смеркалось, когда хозяин, удовлетворенно обтирая руки ветошью, сказал:

— Ну что ж, теперь можно и перекусить.

Он крикнул своей жене, распорядился.

Что это был за стол! Салат из помидоров! Рубиновый, с золотыми блестками борщ. Мясо! Мясо с настрганной румяной картошкой. В центре стола запотел графинчик. И огромное блюдо с фруктами.

И когда стол был уже собран и хозяин с той же снисходительностью раскусившего меня человека, с улыбкой, показавшейся мне особенно оскорбительной, пригласил меня сесть, я сказал:

— Спасибо, я сыт.

Не сказал — подумал. Подумал — и сел за стол.

Хозяин и хозяйка — до чего же приятные и милые люди!

**БАЗАРИЯ** Старый город — новый город. Новый базар — старый базар.

Площадь перед базаром вся в заплатках фанерных будок, ларьков, лотков, палаток и вывесок. А к самому базару ведет длинный и высокий крытый туннель. После солнца там особенно темно. У стен туннеля теснятся те же ларьки с подоконничками. А по туннелю идут с вами и вам навстречу черные старухи, несущие кошельки и прикрывающие лицо платком; и молодые узбеки, ведущие за рога велосипеда и с наслаждением нажимающие в свои звонки; и пузаны в калатах, только отвалившиеся от чая в базарной чайхане, и многие другие люди.

Туннель кончился, и свет снова упал на меня, пронзительный, жаркий. Огромное пространство, усыпанное дынями и арбузами, залитое солнцем, стонущее, спящее; разгружающиеся грузовики, телеги; ослы, грустно и протяжно ревушие; странные, прошлые старики, еще поддерживающие уходящие ремесла. Перед стариками

разостланы платки с потемневшими и ржавыми образцами — витрины. Но никто не подходит к старикам. Они пьют чай, который носит им мальчик из чайханы, перебрасываются непонятными словами и кивают друг другу.

А один старик торговал арабскими книгами. Иначе зачем же он разложил их на своем платке? Книжки были черные, ветхие и глядели таинственно. Я подошел, взял первую попавшуюся и стал листать с видом знатока.

Тут же я понял, что не стоило так пугать старого человека. Он посмотрел на меня, как на пришельца с того света. И, словно проснувшись, стал озираться по сторонам. Он, наверно, впервые понял, где он, и увидел базар, подумал я.

— Хорош аксакал! — сказал он, испуганно и ласково глядя на меня. Он стал тыкать пальцами во всех соседних стариков, горланно призывая их что-то подтвердить. Старички закивали, заболботали.

Он показывал мне паспорт.

Я стоял истуканом.

И тут приблизился здоровенный узбек, этакое бронзовое чудо в грязном халате. И они объяснились со стариком. И старик, вдруг приосанившийся, тыкал в меня пальцем, и все старички, встопорщив на меня бороды, показывали на меня пальцем.

Я предпочел скрыться.

И фруктовые ряды... Лучше бы мне этого не видеть! Непонятная сила толкала меня в них, приковывала. Зачем я тут? Ведь я просто болтался по городу, и вдруг мне потребовалось срезать угол — пройти через базар... Но зачем мне было срезать, раз я просто болтался и спешить мне было некуда?

Тут я увидел, что торговля может быть прекрасной. Как они раскладывают фрукты! Сердца художников у этих людей.

Я ходил вдоль бесконечных тентов, промеж виноградов, черных и красных, белых и золотых, с косточками и без косточек, круглых и крупных, как орехи, и длинных дамских пальчиков; я ходил мимо яблок и груш, инжиров и гранатов, персиков, персиков... Персиков, женственных и истекающих соком. Смотреть на все это в моем положении было безумием. И когда я убежал от тентов, то попал в разлитое арбузное море: огромные арбузные кучи, как зеленые волны. Или — в пустыню, где барханами золотились дыни. И в этом море пла-

вали, размахивая руками, и в этих барханах кочевали пропитанные солнцем узбеки в распахнутых халатах.

И, убегая от арбузов, я снова попадал под тенты.

Все это напоминало сон. Когда все тянется, и нет времени, и все повторяется, и хочется бежать — и не можешь, и хочется кричать — и не можешь.

И я снова бросался в арбузное море. И старался выгresti к выходу, к выходу...

Где кончается базар, там начинается базар. И пет конца базарам...

Это был уже совсем другой базар. Тут ничто не растравляло меня. Но и торговля была совсем другая.

Там был бесконечный ряд, и женщины шумели над множеством разноцветных тряпичных обрезков, иногда аккуратно связанных в пучки, иногда разваленных щедрыми кучками.

И человек, расположившийся у целого собора востроносых, неприятно горячих на вид галош.

И поднимается раздражение...

И вдруг какая-то сказка — ковры. Ковры, подвешенные на веревках между деревьями, огромные, как взлетные площадки, яркие, пестрые, как... и не с чем сравнить. Они образуют коридоры и улицы, и пересекаются эти улицы и коридоры; по этим улицам ходят люди и разминаются на перекрестках. Тут можно заблудиться.

Я выбрался из ковров и попал к мотоциклам. Это было буйное место. Обсуждение походило на крик, жестикуляция походила на драку. Нажимали гудки, гладили никель, били в груди мокрые, возбужденные, действительно страстные люди.

А потом пошли быки, коровы, ослы, козы... Овцы раскачивали своими фантастическими курдюками. Кучи связанных куриц. Все это мычало, бляело, кудахтало, и поверх этого не такая громкая и все-таки перекрывающая гортанная человеческая речь. При мне туда привели двух верблюдов. Они возвышались над всеми своими маленькими самодовольными головками, возвышались и выкатывали грудь, как командиры на параде.

И где-то впереди, казалось, маячил выход.

А у самого выхода — круглый, лысый человек, пораженный своей важностью и разнообразием разложенных перед ним товаров. Тут и кучи рваной разноплеменной одежды, и какая-то посуда, и примус, и медный таз, и мозеровский будильник, и ручка от маузера — все

это показалось мне олицетворением безобразного в прекрасном мире Базарии. И над всем этим, над его головой, объявление:

ЛЮБАЯ ВЕЩЬ — НЕ ДОРОЖЕ 10 РУБЛЕЙ.

«Вот это да! — подумал я. — Тоже веяние...»

Совсем рядом с этим раскачивающимся болванчиком, с левого его боку, лежала прекрасная шляпа из рисовой соломы, благородных форм и совершенно новая. И конечно, стоила не десять рублей.

Какой-то чертик шевельнулся во мне.

Я взял шляпу и полез в пустой карман:

— Десять?

Я не знаю, как это возможно: подпрыгнуть, если у тебя ноги сложены по-турецки. Но он подпрыгнул, и не меньше чем на полметра. Он гневно буравил меня своими черносливами, вылезшими из орбит, как тубусы у бинокля. Все лицо его пришло в движение, словно под кожей у него забегала мышь. Казалось, он не находил слов.

И вдруг он вырвал у меня шляпу и заорал:

— Пшел вон из моего магазина!!!

И я вышел... Тихие, без людей, словно уснувшие улицы, застывшие деревья, дувалы, и тень от деревьев и дувалов, и застывший посреди улицы зной...

Как странно!

**ПЛОВ, ЛЕНИНГРАД** Постепенно мысль, вначале робкая, что я найду деньги на улице, обратилась в фантастическую убежденность. Чем больше я бродил по городу и чем больше нагуливал аппетит (казалось, куда уж больше!), тем явственней пульсировало во мне: вот сейчас, за этим углом, за этой урной... вот сейчас. Сколько было поднято совершенно никчемных и грязных бумажек, прикидывавшихся рублями!

Был уже вечер, и на меня напала вечерняя жажда. Мне так хотелось пить, что я уже не чувствовал, что хочу есть. Я брел, глядя себе под ноги, и в наступившей темноте терял последнюю надежду найти. Вдруг что-то замедлило мои шаги и потянуло назад: показалось, что у забора, где терялся свет уличного фонаря, что-то мелькнуло, а я не обратил внимания. Такие штучки со

мной уже бывали и кончались ничем. Я хотел уже идти дальше. Но что-то опять не пустило меня, я вернулся и... это были настоящие три рубля. Радость сменилась сознанием, что это не так уж много. Но и это...

Я купил сигарет, и свернул в чайхану, и взял чайник. Я утолил первую жажду и почувствовал, что хочу есть. Достал сигарету — закурил. Сосед-таджик завел со мной беседу и потом попросил сигарету. Я дал. Таджик говорил со мной и время от времени убегал посмотреть за пловом, который готовил на кухне при чайхане. А я говорил с ним и думал только о том, как бы он угостил меня пловом. И, выжидая, я выпил еще чайник, хотя пить уже не хотелось и уже думал, что мог бы вместо чая взять хлеба на рубль.

Таджик оказался студентом техникума.

— И кем будешь? — спросил я.

— Инженер-инструктор по общественному питанию, — важно сказал он.

— О, очень интересная профессия, — я почувствовал нестерпимую резь. — И стипендию тебе платят? — почти угрожающе сказал я.

— И стипендию, денег — во! — провёл он по горлу.

И тут я сказал:

— Я геолог, пять лет назад окончил институт. Получаю три тыщи.

— О, о, о, о! — сказал таджик.

Что это я опять! Я спохватился и пошел на пятый.

— Но в чужом городе деньги летят — ого! — сказал я. — Приехал на воскресенье, сто рублей уже истратил, а голоден.

— Да, чужой город — это да, — сказал он и побежал смотреть за пловом.

Я обдумал ситуацию и, когда он вернулся, сказал:

— Так, значит, ты инструктор... Так ты, наверно, здорово готовишь?

— О да, — сказал он, — о да.

— Это, наверно, очень трудно — приготовить плов по-настоящему?

— О, о, рис, мясо, сало, лук, перец, помидор, киш-миш...

У меня помутилось в глазах. И я сказал, проглотив спазму:

— А мясо чье? Баранье, да?..

— Баранье, баранье, — подтвердил таджик.

«Сам ты...» — подумал я. И сказал:

— У нас на севере хозяйки говорят, что труднее всего сварить рис как надо.

— Рис, рис, — сказал он. — Но у вас в Ленинграде тоже, наверно, есть чайхана и плов?

— Нету, — сказал я, надеясь, что тут уж он скажется.

— О, нету!.. Нету чайханы, нету плова... — запричитал таджик.

— Я только здесь в первый раз попробовал, и то в столовой.

— О, о, ох, — закатывал глаза инструктор.

— Но столовский, наверно, не может идти в сравнение с домашним, — наседал я.

— О, дом! У тебя — Ленинград, у меня — Уратюбе.

— А домашнего я совсем не пробовал... — сказал я, и инструктор убежал смотреть за пловом. А я обнаружил, что чай у меня кончился, а сидеть просто так — он, пожалуй, еще подумает, что я напрашиваюсь.

И еще чайник.

Вернулся инструктор и попросил еще сигарету. Я угостил его сигаретой и чаем.

— Ну, как? — сказал я.

— Почти готов. Я прикрыл его крышкой.

Я представил себе, как выходят, сгущаются жирные пары и оседают на крышке... Картина была слишком яркой.

— Да, — сказал я, окончательно сдаваясь, — очень мне хотелось бы попробовать домашнего плова...

— Да, — сказал таджик, — да... Я возьму еще сигаретку. — И он взял.

«Где я и что со мной?..» — горько подумал я и сказал:

— У нас на севере тоже делают вкусные вещи. Другие, чем у вас. Вот приедешь в Ленинград — я тебя угощу.

— О да, приеду, обязательно приеду, — сказал он. — Надо пойти посмотреть — уже, наверное, готово.

Я тоже встал и сказал в отчаянной решимости:

— Пойду посмотрю, как это ты делаешь...

Мы миновали два больших, в рост человека, медных фыркающих самовара с колдовавшим около них чайханщиком. И вошли в маленькую комнатку.

Там сидели вокруг дыни не меньше пятнадцати

женщин и говорили. Казалось, крутилась, работала камнедробилка. Одновременно, ежесекундно слетало с языка каждой по десятку незнакомых трескучих слов.

Я появился, и камнедробилка остановилась.

Все смотрели на инструктора.

— Рафикон колонсолом ЛЕНИНГРАД,— сказал он смеясь,— канибадам хушт либос ПЛОВ.

Все засмеялись. Камнедробилка заработала.

Издевается, подумал я, бессмысленно и всем улыбаясь.

— Плов, Ленинград,— сказал я с нелепой улыбкой.

И мы прошли в слепую (без окон) черную кухню. Только краснела у плиты кучка чуть поседевших углей, да сквозь приоткрытую в соседнюю комнату дверь слегка прорывался свет. Темнота делала обстановку экзотической. Прямо в плиту был вделан огромный котел.

Инструктор приподнял крышку.

И, как взрывной волной, меня чуть не подкинул тугой, смутный и сложный запах.

Огромный котел — и он был полон.

Инструктор приподнял крышку. Он пошерудил в котле черпаком и сказал:

— Готово.

Я смотрел на красные рисинки, жирные стенки котла, и у меня мутился рассудок.

Инструктор крикнул что-то женщинам в соседнюю комнату, и одна из них принесла огромное блюдо — я еще не видал такого блюда! — и блюдце поменьше. Он выложил весь котел в огромное блюдо, и женщина унесла его и поставила в центр на место дыни.

Он соскреб со стенок остатки и положил их на блюдце поменьше.

Это нам, подумал я.

— Вот и все,— сказал он.— Такой кухни в Ленинграде не увидишь.

Мы вышли. Женщины макали руки в блюдо, скатывали плов в шарики, а шарики клали в рот.

Мне хотелось лечь в блюдо.

Инструктор отдал блюдце поменьше чайханщику.

— Возьмем еще чайник,— сказал он мне и достал четвертной. Я с ненавистью посмотрел на его четвертной и в один миг успел мысленно его проесть со всеми подробностями.

— Зачем же тебе менять крупные,— сказал я,— у



меня есть мелкие.— И отдал чайханщику последние копейки.

Инструктор спрятал четвертной обратно.

Мы допили наш чай, и он говорил мне что-то, а я — ему.

— Кок-чай, хорош чай,— сказал он и слил остатки чая в ппалу и придвинул мне. Я отказался: два литра горячей воды кипели у меня в желудке, и больше ничего не было там.

Обида пробежала по лицу инструктора.

— Обязательно выпей. У нас говорят: никому не давай остатки чая — только лучшему другу.

И мы встали, похлопывая друг друга по плечам и смеясь, как братья.

Инструктор посмотрел на часы.

— Ого! — сказал он, — без четверти двенадцать... Мне надо спешить.

— Ну, спокойной ночи,— сказал я, улыбаясь широко и готовно.

...Я лежал на скамейке в парке и засыпал, слушая, как гудят и клокочут в чистом желудке три литра зеленого чая.

# ХЛЕБ

**ДОСУГ** Сколько раз я собирался слазить на ближайшие горы... Интересно ведь. Я же любитель по горам ходить... Да, я очень люблю ходить по горам. Просто нет ничего лучше гор! Да и как здорово это у меня получается! Я лучше всех своих приятелей хожу по горам.

Но вот и месяц прошел на новом месте, а я все так и не сходил в горы ни разу. Как-то приходишь со смены... пока помоешься, поешь, а там и спать.

Странно получается... Собрался я читать Толстого. Очень я люблю Толстого. Что может быть лучше Толстого! Но вот месяц прошел, как я взял его в библиотеке... и все 55-я страница.

Странно это... Поспишь, поешь, поработаешь... Да и какая же это работа: кажется, сидишь больше, чем работаешь! Перекуры одни. Тут и уставать нечего.

Только ребята говорят:

— Ничего, привыкнешь. Работка у нас в самый раз: сиди себе, смотри, как станок крутится.

Или:

— Да... Иногда приходится попрыгать.

Или:

— Да, работка-то — медвежья...

То есть каждый раз, как со смены вернусь, начинаю думать, как бы мне на эти горы слазить. Ведь рукой подать. Просто стыд, что за ленивый парень! Так уедешь обратно — и ничего не увидишь!

С этими словами, да еще с Толстым засыпаю каждый вечер.

Но вот наконец я выбрался. Просто удивительно, каким это оказалось легким делом. А я-то все собирался, собирался... Ничего нет проще. Такими легкими скачками — вверх, вверх... Как птица. Два раза толкнулся ногой — и уже на утесе. Еще раз — еще на утесе, еще выше. Все внизу такое маленькое: вся наша партия, с ее столовой, общежитием, работой, — просто не разглядеть.

Прыг-прыг! Выше, выше. Легкий, как кузнечик.

Прыг!.. Выше уже ничего нет. Я на вершине.

Как это я раньше не догадался! То есть дураку яс-

но, что за горами все иначе. Оглянешься назад: да, там наша партия, которой уже не видать; желтые, голые, острые камни до самой партии, и ни травинки, разве что редкие, совсем уже выгоревшие клочки между камнями...

А впереди — трава. Зеленая, сочная. Вон она, там внизу. Совсем как у нас дома.

Прыгаю вниз и лечу. Трава все зеленее, ближе. А вот и речка. И лесок подальше. И почему-то там стоит мой дом. Точно, это наш дом. Почему-то мне совсем не удивительно, что мой дом в лесу... Вот выбежал Рекс: его поручили нам на лето. На крыльцо вышла мама. А где же Ира? Мне ее надо видеть. Почему она не выйдет на крыльцо?

Я парю над домом. Медленными кругами снижаюсь. Вот уже заметил меня Рекс. Залаял радостно. Все громче, громче...

— Ира, Ира! — кличет мама.

Сейчас она выйдет, думаю я.

Что-то у меня перестало получаться... Наверно, нельзя было думать о том, как это я летаю. Летаю — и все тут. Очень просто. А как подумал, сразу разучился: куда руки-ноги девать? Так можно и грохнуться. Маму напугаю...

Где ты там застряла, Ирка?!

А Рекс... Ишь, разлаялся. Злой... Чего лаешь! Вот погоди, сейчас спущусь...

Да что же это, в самом деле... Падаю. Молчать, Рекс! У-у-ух!!!

— Вставай, вставай! — сдергивают меня за ногу. — Ну и горазд же ты давить... Да не смотри ты на меня так — не испугаешь. Собирайся поживее. Авария на вышке. Снаряд прихватило. Помочь надо. Все уже на ногах... Вставай...

Это Толя говорит. Так.

Это звезды надо мной. Ночь.

Пу что ж...

**НОЧЬ, ДЕНЬ и ЕЩЕ НОЧЬ** Сначала было весело.

— Дай патрубок.

— Убери ногу.

— Ну-ка... Хоп!

— Да не так...

— Убери руку!

— Ключ на двадцать два.

— Взя-а-а... ли!

— Да не туда!

— Р-р-раз!!!

— . . . . .

— Еще-о-о... Р-р-раз!!!

Но вот к утру все наладили. Настроили. Приступили.

Трень-бом! Трень-бом!

Раз-два! Раз-два!

Трень-бом! — это мы-стучим бабой. Р-р-раз! — приседаем, тянем канат вниз. Баба взмывает вверх. Восемьдесят килограммов в бабе. Баба стучает по хомуту. Снаряд подается вверх. Два! — распрямляемся. Канат ползет вверх. Баба опускается вниз, садится на нижний хомут...

Р-раз — трень! Два — бом!

Трень-бом!

Раз-два!

Приседаем — разгибаемся.

В голове пульсирует кровь. Сердце стучит во всем теле. Стучит в ушах. Грохочет баба. Кажется, что ритм бабы совпадает с ритмом сердца. И еще лезут в голову какие-то слова, имена, строчки... Влезет одно и звучит в голове до бесконечности, в ритм ударов сердца и бабы.

День-ночь.

День-ночь.

Раз-два!

Трень-бом!

Мы идем.

Мы идем.

Бом-трень!

Вверх-вниз!

Разгибаемся — приседаем.

Трень-бом! — никакой уже мочи. Но у них, рядом, есть ли у них мочь? А они тянут.

И я тяну. А в голову заползают какие-то глупости...

Трень-бом!

Мы идем...

Вверх-вниз!

«По Африке» — не влезает в ритм.

При чем тут Африка?

Раз-два!

Раз-два!

Впрочем, хорошо, что эти глупости заползают. Отвлекают от того, что трудно.

День-ночь.

«Ночь, день и еще ночь... Вернулся муж. Любовники спрятали в шкаф. А муж провел с женой ночь, день и еще ночь...» — Это из анекдота.

Нет, это уже невозможно. Как они еще могут! Когда надо тянуть вниз, я извиваюсь, как червяк. А разгибаюсь даже слишком поспешно.

Трень-бом! Раз-два! Разогнись-согнись! Вниз-вверх...

...У меня ведь болело горло. Точно болело. Поэтому мне и трудно. Надо объяснить и уйти...

Раз-два! Трень-бом! День-ночь.

День-ночь и еще день.

Сколько можно! Хватит уже.

— Хватит, ребята, передохнем,— говорит старший мастер.

Передохнем... Передохнем — это да. Мы отваливаемся от каната, как насосавшиеся пиявки. Отваливаемся и лежим. Никак не распрямить ладонь. Только через пять минут кто-то из нас соображает, что можно закурить. Закуриваем.

Боже, как хорошо! Солнышко над нами. Припекает. Высыхает пот, натягивается кожа на лбу и скулах. Ветерком потянуло. Дымком. Сколько можно — так пролежать? Без конца. Зачем это надо — двигаться? Кто это выдумал?.. Человек создан для лежания. Так хорошо... Все гудит, ноет, переливается внутри. И, как в детстве, кто-то говорит за меня, какой-то Боря...

— Толик, а Толик...— говорил Боря.

— М-м-м...

— Совсем я заболел вроде. Вечером еще горло болело. А теперь совсем не могу. Сердце, слабость...

— Конечно, Боря... Чего ж тебе тут мучиться. Раз болел. Ведь это сверх смены. Чего тебе мучиться. Раз слабость... Конечно, Боря, иди домой. Чего уж мучиться.

— Да, пожалуй,— говорит Боря,— а то очень уж горло болит.

— Иди, иди, Боря... Только старшему скажи.

Но я почему-то не подхожу к старшему и не говорю, что болен. Все собираюсь — и не иду.

Так сладко... Так расслабиться — это еще надо суметь. Вот так бы и лежать...

— А ну, ребятки, хватит, отдохнули. Передохнули и еще наддадим. Уже целый сантиметр выполз. Если мы еще так наддадим — еще выползет.

В эту минуту я ненавижу мастера... Ну и морда!

Трень-бом! Трень-бом!

И сколько ни колоти — хорошо, вылезет на сантиметр. А то и того нет. Но мастер говорит: хорошо идет. Главное — нельзя останавливаться. Еще немного, а там само пойдет. Словно кто-то держит снаряд на глубине двести метров. Называется это прихват. Вот если сейчас мы не выколотим снаряд бабой, то уже ничем не поможешь... Ну, еще немного, ребятки... А там само пойдет.

Трень-бом! Вверх-вниз.

Раз-два! Разогнись-согнись.

Ай да баба!

Ну и баба...

Это баба.

Баба-баба.

Трень-бом-баба!

Бим-бом-баба!

Ну и ну! Можно же так уходить. Дальше некуда. Откуда только силы берутся... Передохнем — а ну, еще раз! Перекурить — а ну, нажмем!

Перекури — отставить! Перекури — отставить!

Разойдись!

Разойдись — постройся. Разойдись — постройся!

«У каждого человека есть свой запас силы и еще НЕМНОЖКО».

Говорят, работа — это фронт.

Р-разойдись!!!

Этого уже не могло произойти... Ночь, день и еще ночь мы колотили бабой. Миллиметр за миллиметром выползал из скважины снаряд. Кто-то, кто держал его внизу, на глубине двести метров, не хотел отдавать нам даже этих жалких миллиметров. Мы уже забыли смысл нашей работы: нас толкала вперед злость на «того, кто держит». Он не хотел отдавать нам своих богатств. Он их глубоко запрятал. А мы вырывали у него из рук. Миллиметр за миллиметром.

Нам нужна медь. Мне нужна медь?

Казалось, так будет вечно. Ночь, день и еще ночь... И это уже казалось неправдой, когда вдруг пошло само.

Пошло и вышло.

Само. Само собой.

Ай да мы! Ну и мы! Это мы! Мы! Мы! Мы!

Мы кубарем скатываемся по склону и идем по дороге, вниз, к базе.

— Орел, Боря! — говорит мне Толик. — Ты хоть и сильный, а жилу животом зарабатывают...

И старшой говорит:

— Ну, как, Боря?

— Ничего, — говорит Боря.

— Ты парень крепкий, — говорит старшой.

«Хороший он, в сущности, парень», — думает Боря.

И они идут такие веселые, сильные, дружные...

Сегодня — суббота.

Завтра — воскресенье.

Словно ничего и не было. Не было работы.

**ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК** Я работаю с Толиком. Работать с ним легко. И жить с ним легко. Все он делает как-то без усилий, незаметно. И мне помогает. Поначалу ведь не все выходит так, как надо. Помогает он тоже незаметно.

Толик видел в жизни разное. Всякое.

И все его взлеты и падения, казалось, оставляли в нем только след мудрости — а сожаления, зависти, ревности (что вот не достиг, не так сложилась жизнь) в нем не было.

Он говорил:

— Жизнь я прожил по-хорошему...

Или:

— Не понимаю, чего это вам ссориться, что вы мрачные такие... Веселее надо. Вот я — веселый человек.

Или:

— Шутить надо больше. В этом огромная наша беда — мало мы шутим. Легче надо. И веселее. Вот я, человек веселый...

Но за всем этим ходит где-то большая грусть. Где-то там, за шуткой, жестом, где-то на доньшке взгляда...

Есть у Толика и официально отрицательные черты. Например — пьет.

И вот, когда выпьет, берет гитару:

Так здравствуй, поседевшая любовь моя...

Или пляшет. Цыганочку.

Тело его становится удивительно легким. И тогда он кажется особенно, подчеркнуто худым. Туловище во время танца неподвижно. Руки — плети. И только но-

ги, тощие, обутые в тапки, двигаются вдохновенно, мягко — бесшумная чечетка. Толик не любит ухарства в танце, стука.

И танцует медленно, словно разгоняясь и останавливаясь, чтобы разогнаться снова, но так и не набирая темпа.

А гитаристу говорит:

— Не понимаешь... медленней...

А лицо... Запрокинуто, взгляд льется куда-то, улыбка бродит по губам — тень улыбки — и не улыбка вовсе.

А глаза... Взгляд где-то поверх нас, выше. Что он видит там?

Он говорит:

— Горы я люблю. Тут все не ровно. Взгляду — живо.

Или кличет свою собачку, маленькую лайку:

— Кнопка, Кнопка! Ах ты, родная моя...

Еще любит читать. Книги толстые, приключенческие.

Говорит:

— Про жизнь скучно пишут. Веселее надо. Уж лучше вранье...

И еще ему нужно, чтоб рядом обязательно кто-нибудь был. Жена ли Маша, Кнопка ли, или я, или кто-нибудь другой. И кажется, жизнь его — желание, чтобы к нему пришли. И чтобы тому, кто пришел, стало легче, проще, веселее, вернее в жизни. К нему и ходят.

И безудержный запас историй, случаев, из которого он каждый раз достанет то, что необходимо тебе сегодня. И рассказ его (а Толик — рассказчик, большой рассказчик) должен быть прекрасным. Толик выставит себя и смешным, и глупым, и поерничает — только чтобы был рассказ. Рассказ для него — не похвальба. Рассказ не себе — а слушателю.

Замечаю странную вещь. О том, кого очень любишь, кто навсегда задел тебя, писать очень трудно. Трудно — о матери, о женщине, которую любишь. Как-то разговор о них не вяжется с умением писать. Это, может, так же трудно, как в разлуке вспомнить любимое лицо. Тыща других, полузнакомых, случайно встреченных людей пройдет перед взглядом, пока вспомнишь единственное лицо...

Фотография Толика у меня на столе.

О людях — память, тепло. Но Толиком я меряю жизнь.

При всей своей слабости Толик — человек. Потому



что он — вне суеты. Суеты, которая гложет и сжигает человека. Суеты, от которой теряют собственное лицо. Теряют ощущение полноты жизни.

И все мне верится, что таким, как он, можно стать и не сломавшись, не потеряв силы.

И вот мне хочется, чтобы я сделал в этой жизни все, что могу, и в то же время мог сказать, в равновесии и простоте:

Я — веселый человек.

# РОДНОЙ ГОЛОС

**ДВЕНАДЦАТЬ КОЗ БЕЛЫХ И ДВЕНАДЦАТЬ КОЗ ЧЕРНЫХ** По горам прыгают козы. Огромное количество. И все они или белые, или черные. Других нет. Никакого перехода. Вот они столпились в большое черно-белое пятно на склоне. Вот они рассредоточились и четко рисуются черно-белым пунктиром по гребню.

Горы слева, справа, впереди и сзади. Слева горы — желтые, голые. Они то подходят к нам вплотную, то отступают, отходят в сторону. Словно танцуют. Впереди каменная тряская дорога. Изгибается, как река. Вьется, как змея. Спрячется за гору, вытянется по саю, снова улизнет за поворот. А сзади — пыль.

Можно не включать мотор, а катить так, за счет английского короля, по крайней мере полдороги.

Суббота. Катим в город.

Вниз. С гор.

Нас швыряет в кузове, как игральные кости в стакане. Но это еще полбеда...

Еще поворот, и на тех же голых камнях — юрта. Вокруг бегают дети в ярко-красных рубашках. Перевернутые законченные котлы. Раздвигается полог — выглядывает женщина. Около юрты толются козы. От юрты отделяется старик, подходит к обочине, голосует. В другой руке веревка: на нее нанизаны длинной цепочкой козы.

Старик что-то длинно объясняет нашему шоферу, пуская в ход все пальцы, приподымая на руках беленькую козочку и просовывая ее в кабину и все время тряся головой и бородой — одновременно, но с разной частотой, бородой чаще.

Наконец и мы в кузове понимаем, в чем дело. Это благодаря шоферу.

— Да что же это такое?! — кричит он не своим голосом. — Да на что мне твоя коза! Как же мне тебе еще объяснить, что не могу я посадить двадцать четыре козы в кузов!..

Мы оглядываемся, осматриваем кузов. М-да... Хоть мы и утряслись немножко... Но ведь козы-то — двадцать четыре и нас — двенадцать. Я пересчитываю цепочку:

двенадцать коз белых и двенадцать черных,— никакой ошибки.

Шофер заходится.

На помощь из кузова выпрыгивает Коля. Он татарин и берется переводить. Наконец старик отделяет от цепочки шесть коз — три белых и три черных,— и Коля с азартом, краснея и веселясь, начинает закидывать их через борт.

Мы смотрим.

Потом старик опять подходит к кабине и снова начинает пропихивать козочку.

— Да не нужна мне твоя паршивая коза,— в голосе шофера мне слышится рыдание.

Старик не понимает, качает головой.

— Ну, садись, черт с тобой!.. Да поживей, и так из-за тебя опаздываю. Да садись же!.. Ведь все понимает, старый хрен,— денег платить не хочет!..

Старик подсаживает козочку в кузов. И садится сам.

И мы едем.

Нас теперь двадцать в кузове. Двенадцать было, да еще старик, да еще семь коз. Впрочем, седьмую, беленькую козочку, старик держит на руках, как грудного ребенка. Но от этого не легче.

Да, он едет в город. Да, на базар. Толковый старик.

Теперь-то нас не так легко трясти, как игральные кости. Но это только кажется. Нас-таки трясет: небо-то над головой свободно... Козы испуганно жмутся сзади. Они теплые, шерстяные. Глаза у них округлились, налились кровью. Тупой ужас в глазах.

Но мы привыкаем. Козы сзади, впереди — дорога. И мы про них забываем. Разве пахнет несколько. Да еще я полстел через козу: машину тряхнуло. И все очень смеялись.

Тесно не тесно, а словно мы тут уже давно живем, в машине. Трое играют в очко. Один достал из сеточки пиво и рыбину и угощается с соседом. Коля-татарин заигрывает с Надей-кассиршей. Надя смущается, старается показать, что Коля ей не пара, воротит голову.

Коля вдруг обижается:

— Чего кривишься?

Надя молчит, словно это он не ей говорит.

— Подумаешь, начальство...— говорит Коля.

— Сначала научитесь разговаривать,— говорит На-

34 дя,— а потом говорите.

Это, конечно, мудрое замечание. И Коля обижается совсем.

Побленвают козы.

Но тут машина затормозила.

Новое дело.

Осел стоит посреди дороги. Стоит и ухом не ведет. Сколько я видел ослов — ни тупости, ни упрямства. Это какое-то воплощение грусти и меланхолии. Они, по-моему, просто ничего не видят вокруг от этой грусти. Не обращают внимания. Серые, лопоухие, славные.

Так вот осел стоял посреди дороги. А уж если он стоит, единственный способ — взять его за четыре ноги и перенести к обочине. Бить и пугать — бесполезно. Но тут был не просто осел-кататоник. Тут дело сложнее.

У обочины, в пыли, катаются два человека. То, как они по очереди садятся друг другу на грудь, и как держат друг друга за отвороты халатов, как лежат в пыли опрокинутые тюбетейки, как кричат они, гортанно и страстно, — по всему этому можно понять, что они дерутся.

Мы, конечно, выбираем себе любимца и начинаем болеть. Мы подбадриваем их криками. Мы даже начинаем спорить, кто — кого. А надо сказать, что меняются местами они так часто, что мы начинаем их путать. Но это не мешает нам болеть. Нисколько. Мы входим в азарт.

Тут один из двоих, оказавшись сверху, вскакивает на ноги и во всю прыть несется к ослу. Он вспрыгивает на осла, стучает в бока пятками, и тот, как по мановению, забыв, что он кататоник, оживает и трогается с места. Тем временем вскакивает и второй узбек, догоняет первого, стягивает его за ногу с осла и садится сам.

Оказывается, они дерутся из-за осла, вот что.

Осел идет вперед как ни в чем не бывало. Мы ползем за ним. А два неподеливших человека стаскивают друг друга с осла, первый — второго и второй — первого. И все время они кричат не переставая, и кажется, что кричат они не сердито и дерутся как-то не страшно.

Мы ползем следом. Медленно, но интересно.

Тут случилось вот что. Они оба снова скатились к обочине, а осел убежал в горы.

Мы поехали дальше с положенной нам скоростью...

Машина теперь уже не катится сама собой. Она ныряет. Вниз — вверх. Вверх — вниз. Раскатится вниз — и на всем скаку на горушку. А на самый взгорбок уже еле

взбирается, ревя и задрав радиатор. Вниз — упираешься руками в борт, чтоб не ткнуться в соседа. Вверх — руки вытягиваются, как канаты, чтобы не опрокинуться на коз. Вниз — все видно впереди. Вверх — видно все меньше, меньше. Пока не влезешь на взгорбок: оттуда снова вниз. И снова вверх.

Вот мы, шипя и надрываясь, осилили один очень длинный подъем. Вот мы на взгорбке — и совсем иная картина. Словно и не было желтых раскаленных гор. Под нами котловинка, и она зеленая.

Аул. Оазис.

Вот и то самое, из-за чего возникли и аул и зелень, — узенький ручеек. Мы переезжаем его медленно, как канаву, сначала мягко нырнув передними колесами, потом резко — задними. Слева от дороги из камня выложен бассейн (хауз). Ручеек перегороджен. У плотины копошатся дети.

Мы спускаемся вниз. К аулу, к зелени.

Справа — поле люцерны. Оно обнесено плетеной изгородью. А сразу от изгороди начинается тот самый вечный желтый камень, такой мертвый на вид. Это поле было такое зеленое! Я никогда не видел, чтобы что-нибудь было таким удивительно зеленым. Таким свежим. Трава густая, сильная. Кажется, изгородь выгибается под ее напором. Поле (какое поле! — что наш кинозал) — и не поле вовсе. Кто-то чуть покрупнее нас поставил в пустыне на желтый камень плетеную корзинку, набитую тугой травой. А в поле пасутся две лошади. Удивительно милые лошади. Две лошади в корзинке. И все поле в отдалении. Прохладное, нежное... И две лошади. Сколько раз я проезжал по этой дороге, мимо этого поля: вниз — в субботу и вверх — в понедельник... И каждый раз так же зеленела люцерна, так же паслись две лошади. Казалось, они не меняли ни позы, ни места. Казалось, они и не паслись вовсе. А смотрели куда-то вдаль. Две лошади, два силуэта. Скоро вернется этот кто-то за корзинкой и понесет ее дальше. И люцерну, и двух лошадей... Унесет.

Мы спустились мимо поля и подкатили к аулу. Тут вперемешку стояли юрты и глинобитки. Из них высыпали люди.

В центре толпы оказался солдат-отпускник. Я еле узнал его: такой он стал важный. Это мы привезли его в прошлый понедельник. Он остановил нас тогда в два-

дцати километрах от аула. Он шел пешком и запылился с ног до головы. В машине он успел нам рассказать и про службу, и про жену, которую не видел год, и про хозяйство. Он нервничал, брал у нас папиросы, и его новорожденное лицо было так тревожно и так чисто. А сейчас он стоял, белый и растолстевший в армии, в толпе своих сухих темнолицых односельчан и был очень важен, и какое-то непонятное равнодушие покрывало его лицо. Он был уже в халате и тюбетейке и забыл про сапоги. Когда он успел привыкнуть к тому, о чем скучал год? Впрочем, много ли нужно человеку, чтобы почувствовать себя дома...

Тут наш старик издал пронзительный крик. В толпе обратили внимание и тоже закричали. Наш старик забарабанил по крыше кабины. Мы остановились.

Он поспешно, путаясь в халате и собственных ногах, цепляясь за коз, вылез из машины. Бросился обнимать отпускника. Старик обнимал и обнимал его, выкрикивая и притопывая. А отпускник давал себя обнимать и стоял важный. А раздавшийся круг смотрел на них. И отпускник давал на себя смотреть. Потом старик начал обнимать группу, стоявшую чуть ближе к центру, чем остальные, — по-видимому, родственников отпускника. Потом он начал обнимать всех остальных, прижимая руку к сердцу, и пожимая руки, и кланяясь, и снова прижимая руку.

Мы не смогли уехать, потому что у нас в кузове были стариковы козы. Шофер выбрался из кабины, опять вспоминая мать, и подошел к толпе. Он втесался в нее, продвигаясь к старику. Продвинулся.

Старик по инерции обнял шофера.

Шофер приволок старика к машине:

— Ехать надо. Понимаешь, ехать. Е-хать. Ехать, понимаешь? Твоя, моя, козы — ехать. Ах...

Старик не хотел ехать. Старик даже рассердился. Он что-то лопотал и бубнил с обиженным лицом. Затем махнул рукой и стал принимать от Коли-татарина коз.

Коля сказал:

— Он говорит, что базар никуда не уйдет. А тут вернулся племянник, и он уйдет.

Сгрузили коз.

Старик снова попытался пропихнуть козочку в кабину.

То, что сказал по этому поводу шофер, вообще трудно передать.

Старик, прижимая руку к сердцу, попятился от машины.

Шофер тронул.

Тут наш старик спохватился и побежал за машиной, крича и размахивая руками.

Мы остановились. Запыхавшись, старик подошел к кабине и долго разворачивал на груди свои халаты, откуда и извлек некий узел. Он долго развязывал его, прищептывая и притопывая, и все для того, чтобы извлечь из него еще узел, который тоже надо развязывать.

Развязав и этот узел, старик отвернулся от кабинки и, образовав собой полусферу, шуршал в ней. Развернувшись, он просунул шоферу бумажку. Тот поморщился и взял. Взял и тронул.

Последнее, что мы еще видели, — это как старик протягивал молодую козочку отпускнику.

Стало свободнее. Но это ненадолго.

Скоро мы нагнали живописную группу... Осел. На нем старуха в черном. А сзади, держась за хвост осла, — еще старуха, такая же черная.

— Автомобиль с прицепом, — сказал Саня.

Старуха отпустила хвост и проголосовала.

Другая старуха слезла с осла, и оказалось, что она сидела на мешках. Оказалось, они взяли кизяк. Они сгрузили мешки с осла, и тот же Коля погрузил мешки в машину. Туда же он посадил одну из старух.

Мы ехали. Ехали ныряя — в гору, с горы. А вокруг раскаленный желтый камень. И обжигает лицо раскаленным ветром. Но дышится легко. Воздух сух и чист.

Как ни странно, мы напуганы ленинградской жарой. Редкой, но влажной. В Азии жара легче. В Ленинграде климат хуже.

Благодатная страна — Азия!

А я сижу на мешке с кизяком и думаю, что все-таки это совсем другая и чужая мне страна.

**МЕЖДУГОРОДНЯЯ** В чужом городе быстро исчерпываешь все дела. Особенно, если ты один.

Почему-то рано проснешься. Еще не жарко. Сходишь на почту, напишешь домой. купишь газету. Побродишь

по городу, пока откроется столовая. Наконец позавтракаешь. Выйдешь из столовой — уже жара.

Пойдешь купаться.

Купание прекрасное! Вода прохладная, чистая, быстрая. Но скоро понимаешь, что надежду освежиться надо оставить. Даже хуже: растравляешь себя только. Выйдешь из воды — и уже снова жара, снова лезь в воду. А пока оденешься — словно и не купался.

Ну, сходишь на базар.

Походишь по рядам, выбирая. Взмокнешь и уже совсем запутаешься, что дешевле и что лучше. Впрочем, все равно — все фрукты тут хороши. Поторгуешься. И если выторгуешь копеек пятьдесят, уйдешь крайне довольный своими финансовыми способностями.

Ну, съешь фрукты... Ну, купишь еще газету и посидишь в чайхане. Ну, выпьешь, положим, даже пять чайников...

Ну что еще?

А времени прошло — почти ничего.

Пойдешь обратно в гостиницу... Это так скучно — гостиница днем! Никого. Пустота. Дремлет на диване дежурная. Откроет глаза, посмотрит на тебя мутно. А ты бы и не прочь заговорить с ней... О том, как нынче уродились фрукты, о ее мальчишке-сорванце, об этих несносных врачах, а потом о доме, о «там в Ленинграде»... А она уже снова закрыла глаза, ей лень и вообще все равно — есть ты, нет тебя...

Проходишь двор... Спит банщик на скамейке под чинарой. Перебежала из двери в дверь прачка в одной рубашке...

Пусто. Пустой двор.

И вот ты шатаешься, шатаешься по улицам...

Куда пойти? К кому?

Это очень далеко, где можно пойти куда-то и к кому-то. Совсем в другом городе. В Ленинграде это.

Я пошел на переговорный пункт и заказал разговор с Ленинградом.

До разговора надо было деть куда-то еще шесть часов. Сходил в кино. Еще раз поел. Снова пошел купаться.

В общем, эти шесть часов прошли даже незаметно.

Потому что я думал о том, что вот разговор, как там Ленинград, как друзья, как мама. Думал о том, что скажу Ире, что расскажу о себе. Ведь телефонный разговор



не шутка, я-то знаю, говорил не раз. Попробуй скажи все за пять минут, да еще если плохо слышно. Чтобы что-то успеть сказать, надо продумать, о чем и как. Так я рассуждал, сидя в кино, в столовой, на пляже.

Я скажу ей, помнит ли она меня, ждет ли, тогда как я очень помню и жду.

Я скажу ей, не приснилось ли мне все это, что мы были вместе, рядом. Помнишь, совсем недавно, мы шли по берегу озера, всюду были люди, и тогда мы пошли прямо по озеру, оно мелкое в этом месте и заросло зеленым ковром, который прогибается под нами при каждом шаге, и мы качаемся, как на качелях, и уходим от людей вон к тому островку, и при каждом шаге фонтанчики теплой воды из-под пальцев, а Рекс, пес, которого нам оставил Сережа, носится по болотине кругами как угорелый, а ковер под ногами такой широкий, такой зеленый, и когда мы пришли на остров, там тоже были люди, а мы пошли дальше...

Я скажу тебе: здесь такая прекрасная страна! Все, что вижу, мне так хочется тебе показать, чтобы вместе ходили, смотрели, удивлялись... Здесь такая чужая мне страна... что не нужна она мне.

Я скажу тебе...

Я даже записал на бумажке то, что скажу, по пунктам, чтобы не забыть у телефона. И при этом мысль о собственной опытности доставила мне удовольствие.

Вечерело. Была самая жара. Тот момент, когда зной стоит, стоит и вдруг начнет спадать. Но он все стоял...

Оставалось полчаса.

Я решил переждать их в переговорном пункте.

Разные люди — узбеки, таджики, русские, мужчины и женщины — сидят по стенкам бок о бок. Ждут. Осматривают каждого новоприбывшего. Потом снова смотрят перед собой. Сидят рядом, но как-то отдельно друг от друга. Строй фанерных будок. Все слышно, что там говорят. Фразы из разных будок накладываются одна на другую. И на все накладывается голос из репродуктора:

— Наманган, вторая кабина!

— Надя, как твоё здоровье? Не очень хорошо... А когда ты собираешься поправиться? Нелепый вопрос?..

— Что? Что? Не слышу!

Неорганизованные люди, с удовлетворением думаю я. Так они ни о чем не договорятся.

— Москва, первая кабина. Москва! Кто ждет Москву! Москва на проводе!!!— сердится голос в репродукторе.

— Уже пять минут, как должны соединить,— гоню я.

— Это ничего по сравнению с вечностью,— важно роняет сосед.

«Дурак!» — обозлился я.

Сосед задумчиво бросает монетки в шляпу. Достает их оттуда и снова бросает.

— Два часа жду,— говорит.— Нет дома. Куда делась?

— Ни одного письма от тебя...— говорит девушка в одной из кабин. Тоненький голосок... И вдруг басом, вот-вот заревет: — Я прямо с ума схожу... Что? Почему у меня такой голос? Простудилась. Хожу каждый день купаться... Одна. Конечно, одна.

— Все врет,— со злостью говорит сосед.

— Наманган. Наманган! Четвертая.

Свинство слушать, думаю я.

Читаю на стенке: «Предметы, запрещенные к пересылке по почте... Во всех почтовых отправлениях запрещается...»

Скоро ли... Скоро ли! Чего они тянут!

«Пользуйтесь стандартными текстами поздравительных телеграмм... Всем семейством поздравляем, счастья в жизни вам желаем. Форма 5-а.

...дальнейших успехов в работе...

...Новый год... Первое Мая...

...Форма 6-г...»

Ожидание нагнетается и становится невыносимым. Что-то препротивно закручивается внутри. Намерение еще чем-то отвлечь внимание не приводит ни к чему. Чуть не рычу. Ни о чем не подумать...

Я думаю о таком странном состоянии, когда что-то закручивается внутри. Такое же нетерпение бывало в детстве... Потом я думаю о детстве. Насколько все получилось не так, как думалось в детстве. И я думаю, что совершенно не могу себе представить, что будет со мной через столько же лет в будущем...

— Ленинград, первая. Ленинград! Поспешите в первую кабину...

Я отряхиваюсь, понимаю, где я и что я, успеваю в какую-то секунду облиться с ног до головы потом и бросаюсь к кабине.

— Алло,— кричу я.— Алло!  
— Боря...— Голос далек и слаб. Совсем искаженный голос.

— Да, это я,— говорю я и молчу.

— Ну, как ты там?

— Да что я... ты о себе расскажи,— говорю я.

— Да что мне рассказывать: все так же, все как знаешь. Ты о себе расскажи — это главное.

— Да что мне говорить,— говорю я.— Все как я уже в письмах писал. Тут надо о том, о чем только сказать можно...

— Ты же все знаешь...

Стесняется она, что ли? Вечно кто-нибудь торчит в этом коридоре!

— Как все там живы-здоровы?— говорю я.

— Все в порядке. Все живы и все здоровы.

— А Катя как?

— Хорошо Катя.

— А мама?

— И мама здорова.

— А как твои?

— Хорошо.

— На даче?

— На даче.

— А Петька?

— Петя тоже на даче.

— Ну, а как же все-таки ты?

— Я... так же я. Приезжай скорее,— голос тихий-тихий. И вдруг обрадовался голос:— У меня рожа.

— Что?! Пфу! Пфу-у!— дую я в трубку.— Алло! Алло! Пф-фу-у! Пф-у-у! Алло, Ленинград!

Да что же это такое! Неужели все? Ничего и не сказал...

— Пф-фу! Пфу! Алло!!!— ору я.

— Да, Боря. Что у тебя там за помехи?

— Сам не знаю,— говорю я.

— А сейчас их нет.

— Так это я, наверно, трубку продувал,— догадываюсь я.

Смеется.

— Так что же с тобой? Я не понял,— говорю я.

— Рожа.

— Что такое! Ты не треплишь: времени-то мало...

— Я и не треплюсь. Это кожное заболевание такое.

— И очень пострадало лицо?— озабоченно спрашиваю я.

— Лицо?— смеется.— Вовсе не лицо, а на руке. Я мыла кости для собаки — уж такие достала вонючие, что мне их даже даром отдали,— мыла и поцарапалась. Теперь ни купагся, ни мыться не могу. От воды вздувается — просто ужас!

— А как собака?

— Что?

— Как собака?!

— Говори громче, ничего не слышно.

— Как собака?!— ору я.

— Что, очень устаешь, да?

— Да нет же, я про собаку!!!

— Хорошо, хорошо. Что ты так громко кричишь?

— Да ты же сама говоришь, не слышно.

— Все в порядке с собакой. Ей-то прекрасно...

— А тебе от нее достается? Все так же лает?

— Что?

— Так же лает, говорю!

— Ничего не слышу.

— Лает!!!— ору я.

— Кто лает?

— Собака лает...— говорю я и чувствую себя окончательно идиотом.

— Ну, конечно, что же ей еще делать... Боря, ну при чем тут собака?

— Конечно, ни при чем,— соглашаюсь я.

— ЗАКАНЧИВАЙТЕ. ЗАКАНЧИВАЙТЕ.

— Я все не то говорил!— кричу я.

— И я.

— Правда? Скажи.

— РАЗГОВОР ОКОНЧЕН.

Я еще некоторое время ору в немую трубку... Может же быть так, что только я ее не слышу, а она меня слышит?..

Потом вываливаюсь из будки. Какая духотища! Это надо суметь так взмокнуть! Как мышь. Осторожно, двумя пальцами, отлепляю от тела рубашку и брюки.

А тут сидят и ждут люди и делают вид, что не замечают меня. Мне неловко этих людей: ведь они все слышали... И я выскакиваю на улицу как пробка.

Так хорошо! Жара уже спала. Потянуло холодком. Набираю полную грудь. Иду. Только сейчас и замечаю,

что кулак судорожно сжат. Еле разжимаю: затек. Там совсем мокрая бумажка с пунктами. Какие глупости!.. Выбрасываю.

А в ушах и внутри долго еще звучит ее смех.

А больше ничего и не надо.

Я улыбаюсь девушкам. Помогаю старушке поднести кошелку с базара. У нее сын недавно женился... А невестка, хоть и хорошая девушка, но попробуйте с ней поживите... Все будет прекрасно, говорю я ей. И иду дальше. Помогаю мороженщице катить тележку.

Покупаю лотерейный билет.

Долго беседую с дежурной в гостинице и с узбеками, соседями по комнате.

И засыпаю.

# ГАДЫ И ФРУКТЫ

Глядите — хо! — он пляшет,  
как безумный:  
Тарантул укусил его...  
Эдгар По

**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ** Больше всего я боялся, что меня кто-нибудь укусит. Я расспрашивал знакомых, которые бывали в Средней Азии. Ровно половина рассказывала страшные истории, и ровно половина говорила, что все ерунда и легенда. Я так толком и не мог понять, что мне делать: бояться или нет. Неразрешимых вопросов, впрочем, нет. Есть Большая Советская Энциклопедия.

«ФАЛАНГИ, или сольпуги, или бихорхи... Тело членистое, подразделено на головогрудь и десятичленистое брюшко... Конечностей шесть пар: верхние челюсти — для нападения и защиты, нижние челюсти, или ногощупальца, третья пара — для осзания, 4—6-я пары — ходильные... Раздельнополы, яйцекладущи, развитие без метаморфоз... Более 600 видов...»

«СКОРПИОНЫ... Тело длиной до 18 см... Две ядовитые железы открываются на конце острого крючковатого шипа — жала... Ног 4 пары, глазков 3—6 пар... Известно около 500 видов... Уколы *S.* очень болезненны, а уколы крупных *S.* могут оказаться смертельными».

Не знаю, из каких соображений именно так кончалась статья о скорпионах. Почему бы не сообщать об этом где-нибудь в середине?

Но все это пустяки. А вот что меня потрясло, так это кара-курт! Самка превосходит самца в 2,5 раза и в 160 раз более ядовита. Если попробовать представить, что такое быть в 160 раз более ядовитым, чем уже ядовитый кара-курт-папа,— это кружит голову, как астрономия. Но этого мало: оплодотворившись, самка убивает самца и пожирает его...

И кто может мне гарантировать, что я буду иметь дело только с мужчинами?

**ЗМЕИ** Они попадают сравнительно редко.

Однажды уж совсем заморились за смелу... Еще был с нами мальчишка Петя, приехал из города к брату погостить. За компанию с нами на смелу был.

Сидим, дремлем. Вдруг он как заорет:

— Змея!

Вскочили, конечно. Где змея! Как змея! А змея испугалась — под настил забилась. Так мы чуть все доски по очереди не содрали, пока поймали... Ну, прибили змею — и все.

Только мальчишка все с ней забавлялся. Поразила она его очень.

А нам почти до конца смены пришлось доски обратно приколачивать.

Притомились.

— Давай-ка уху заделаем!

Ухой мы чай зовем. Подзываем Петю:

— Петя, сбегай за водой...

Петя — в одной руке котелок, в другой змея — помчался, прыгая и улюлюкая, вниз, к роднику.

Вернулся, поставил котелок. Грустный какой-то.

— Что с тобой? — спрашиваем.

— Змею-ю потеря-я-ял...

— Как же это ты так?

— Да вот, взялся за хвост, раскрутил над головой — даже засвистело. И вдруг хвост оторвался, а змея улетила... Искал-искал — нету.

— Непрочная какая... — сказали мы.

**СКОРПИОН** Надо сказать, и кара-курт и фаланга, в общем, благородные звери. Так, за здорово живешь, они тебя не тронут. Будут ползать по тебе, а не тронут. Разве что придавишь.

Скорпион — другое дело. До чего уж подл! Так и норовит цапнуть. Не успеешь слова сказать — он уже бьет.

И зря утверждают, что они самоубийством кончают. Это для них слишком благородно. Сколько раз мы их ловили — и ни разу. И такая уж была обстановка: дураку ясно — пора кончать. Нет, ни разу.

Но вообще-то все эти гады — дело здесь привычное. Даже развлечение.

Сидишь на вышке. Станок крутится, гудит. И так в сон клонит — мочи нет. Особенно в ночную смену. А тут изловишь скорпиона да фалангу... Ночью их много на свет набегают. Поймаешь — или ниточкой за лапки свяжешь, или так стравишь. Зрелище — хоть куда. Уж до чего злы!

И надо сказать, фаланга, как правило, скорпиона забывает.

**ФАЛАНГА** Пакость это, прямо скажем, ужасная. То есть от одной мысли, что такая тебя может укусить, стошнит. Такой зеленый, толстый и мохнатый паук. С черным клювом.

Одно слово — гад.

Вернулись как-то мы со смены. Пообедали. И присели покурить на ступеньке столовой. Вдруг бежит к нам Санька с таким видом, словно оп жемчужину нашел. Подбежал — видим, между двумя щепочками держит фалангу. Да такую здоровую, что мы таких никогда и не видавали. С ладонь. Сучит своими толстыми и мохнатыми, словно в штанишках, лапами.

— Вот, в уборной поймал, — радостно говорит Санька.

Присел рядом с нами, сложил фалангу у наших ног. Только щепочкой придерживает, чтоб не убежала.

Сидим решаем, что с ней дальше делать. То ли сжечь, то ли лапки оторвать, то ли попугать кого-нибудь. И тут видим: курица за нами наблюдает. Стоит скромно в створке и все голову к нам кривит.

— Стравим ее с курицей, — говорит Санька.

Дружное одобрение.

Отшвырнули мы фалангу чуть поближе к курице и смотрим.

Фаланга стоит на месте, еще очухаться не может — озирается.

А курица робкими пажками и как-то по кривой, но уже подбирается к ней. И все боком поглядывает и головой так смешно и сосредоточенно подергивает. Обошла фалангу и остановилась в полметре сзади. Чтоб та не видела. Потом, словно ее подменили — куда только девалась недавняя вкрадчивость, — как прыгнет к фаланге, тук-тук ее клювом в самую серединку и снова отскопала.

— Так ее, так! — закричали мы.

Фаланга покрутилась на месте и снова остановилась. Курица опять зашла к ней с гыла, подскочила — тук-тук-тук! Приподняла голову, посмотрела, выжидая. А фаланга уже и не шевелится. Тут курица подхватила в клюв фалангу и как понеслась во всю прыть, кокетливо раскидывая ноги. Забежала за угол. А туда уже дру-



гие куры бегут: жирная добыча. А курица с фалангой от них. И все скрылись.

Уж мы хохотали! Столько они нам удовольствия доставили...

— Да,— сказал вдруг Толик, раздумчиво и серьезно,— курицам тоже нужно мясо... Для них это мясо.

**КАРА-КУРТ, ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ «ЧЕР-  
НАЯ СМЕРТЬ»** А это один из знаменитых рассказов Толика. Вот как оно бывает с кара-куртом на самом деле...

Вечером Толик выпил. И не то чтобы выпил — просто встретил приятеля. Ну, выпили. Выпили в честь того, что выпутались из переделки, в которую впутались, когда выпивали третьего дня.

Толик пришел домой не то чтобы пьяный. Пришел и рухнул в постель под причитания жены. Во сне он икал, рыгал, клокотал, ворочался, раскидывался, задыхался, ругался, плакал, храпел — в общем, спал беспокойно. Потому что, во-первых, он все-таки выпил, во-вторых, была отвратительно душная ночь и, в-третьих, с утра было на смену.

Однако к смене он не проспал. Он даже проснулся раньше обычного: было всего часов шесть. Все гудело, саднило, трещало, ломало, горело — в целом, много неприятных ощущений. И все бы ничего особенного, если бы не было еще чего-то не совсем похожего в ощущениях. Так он лежал неподвижно, переживая похмелье, пока не выделил необычное беспокойство в единицу: особенно горело плечо, и вообще он был полупарализован. Он отвел плечо и увидел трупик кара-курта.

«Придавил, значит, беднягу...» — подумал он, пряча кара-курта в портсигар.

Он даже испугался, но потом вспомнил, что первое средство (а в больнице ему быть не раньше, чем через два часа)... первое средство — наспиртоваться. А в этом отношении ему повезло.

Но и еще не мешало бы...

Обдумав все это, он растолкал жену.

Жена, уснувшая сердитой, проснулась тоже сердитой. С криком.

— Беги к Бобру — неси пузырек,— сказал Толик, суммировав в этой краткой фразе свои предыдущие рассуждения.

Жена, конечно, возмутилась и сочла, что Толик потерял всякую совесть. Что ему уже мало выпить тайком, так он уже ее саму нахально за водкой посылает, да еще с утра...

— Хватит, — сказал Толик. — Поспеши. Меня кара-курт кусил.

Та, конечно, не поверила — и нет предела его паглости... Но Толик — он только молча раскрыл папиросницу и ничего не сказал. Жена быстренько выскользнула из палатки в предрассветное утро.

Она растолкала Бобра (нашего завмага), объяснилась с ним и, пока тот шел открывать свою лавочку, сбегала к начальнику, добудилась и его, а тот растолкал шофера и велел срочно собираться в город и везти Толика в больницу.

Через пять минут гудел весь лагерь. Жены, вставшие раньше своих мужей, чтобы приготовить завтрак, узнали о случившемся, и от их крика проснулись мужья, много раньше обычного. Следом проснулись дети.

К Толику потянулись паломники. У палатки образовалась очередь. А Толик допивал лежа свою бутылку, открывал и закрывал портсигар и рассказывал, уже туманясь и заплетаясь, как он его, голубчика, того...

Толик не удовлетворил еще и половины заинтересованных, как бутылка кончилась.

— Тащи еще гузырек! — крикнул он жене. — Да живее — для жизни опасно...

Он выпил еще с полбутылки, когда шофер собрался. Толика с великими почестями, на руках, отнесли к машине. Он что-то горланил, размахивая почему-то не парализованными руками: в одной было полбутылки, в другой — портсигар.

Ехать было далеко, Толика растрясло, он уснул и очнулся уже у самого города, на подъезде к мосту. Проснулся и почувствовал, что, пока он спал, кара-курт не дремал. Пожалуй, что он, Толик, почти уже не мог пошевелиться. Однако он сделал над собою усилие и допил водку, а бутылку вышвырнул в реку.

Шофер сгрузил его у больницы, хотел проводить, но Толик прогнал его.

— Я сам! — кричал он, путаясь в турникете, что не мудрено, если человек укушен кара-куртом и уже почти полностью парализован.

В приемном покое несколько удивились. И даже не

хотели принимать. И даже хотели вызвать милиционера. Что естественно, если в чистых, тихих покоях вдруг появляется такая колеблющаяся фигура, что даже не разглядеть. словно фотография не в фокусе. Но эта тень орет, гремит, опрокидывает стулья, матерится и хватается за грудки, а грудки — это белоснежный крахмальныи халат.

Но фокус с портсигаром, в котором был красненький паучок, удался Толику и тут.

Как-то его умыли и переодели, что-то ему впрыснули, и он проснулся на следующее утро, ничего не понимая, в этой чистоте. Хотел закурить и ничего не нашел. И вообще обозлился.

Явилась чистенькая, аккуратная сестра, чтобы сделать ему укол.

Толик категорически отказался. Слишком категорически...

Конечно, скандал. Конечно, слезы.

Увещевали. Стыдили. Приходил главврач.

Кое-как успокоили. Приготовились к уколу.

«Надо же, — рассказывал Толик, — разве ж это врачи! Мясники. Ка-а-ак она мне всадит!.. Игла — с полметра. Не шприц — бутылка. Да еще у нее не сразу получилось, так она меня раза три тыкнула. Что там кара-курт — ерунда. Я как вскочил, шприц разбился, а ее словно ветром сдуло. Опять появились всей бандой. И что-то мне еще вклеивают... А сами уколов делать не умеют.

— Выписывайте, говорю, меня... А не станете — удеру!

И удрал.

У приятеля в городе переоделся. Ну, полечились мы немного...»

Толик вернулся на следующий вечер. Хорошо выглядел...

А наутро вышел на работу.

**ФРУКТЫ** Ну а фрукты — совсем другое дело!

## ФОРМЫ ТЕПЛА

**ЖАРА** Я сплю на крыше. Поперек ущелья. В ногах хребет и в головах хребет. Солнце восходит из-за моей головы, вернее из-за тех гор, что у меня в головах. Оно высовывается из-за острого гребня: долька, половинка... И вдруг встает на гребень, румяное и круглое, как колобок. Кажется, крикни, и оно покатится вниз по склону. До самой нашей базы. Солнце высовывается из-за гребня, и начинается перестановка, перераспределение света и тени. Лучи падают на вершины противоположного гребня, того, что у меня в ногах. Линия, разделяющая освещенную верхнюю часть гребня и теневую нижнюю, сползает вниз. А солнце поднимается вверх. Вот и весь склон освещен. Тени бегут. И даже на дне, где находится наш поселок и особенно застоялась тень, даже тут светлеет. Свет занимает окраинные дома поселка и стремится к центру. Подобрался к моей крыше, осветил ноги. Ногам становится жарко под ватным одеялом, сон слабеет. И вот свет ударяет в лицо, будит. Помычишь, покрутишь головой — проснешься. Делать нечего — солнце.

А если сон так крепок, что не проснешься от первых лучей, то все равно проснешься вскоре. Но проснешься разбитый, мятый, смурной. И целый день будешь ползать как муха.

А солнце стоит где-то над нами. И освещает уже и левый склон, и правый, и дно ущелья. А ведь еще так рано... и ты совсем не выспался.

Куда деться от солнца?

Дома накаляются, в комнатах душно и набиваются мухи. А деревьев тут нет. Ни сени, ни шума листьев. Нету деревьев. Единственная тень — от домов. Выносишь койку, приставляешь к стенке, в тень. А тень уменьшается, тает. И становится шириной в полкровати. Больше не поспишь... Можно еще так полежать. Но вдруг сетка под тобой начинает ходить ходуном. Оказывается, под кровать забился козлик и пытается устроиться поудобнее. Под кроватью — тень. Выгонишь козлика — там спрячутся куры: им там достаточно тени и места.

А настырное солнце лезет и лезет вверх.

Весь поселок вымер. Даже непонятно, куда все по-прятались. Начинаешь слоняться по поселку. Никогда в жизни не приходилось бродить так медленно. Зайдешь на кухню: что будет на обед? Уйдешь из кухни: мыслимое ли дело стоять в такую жару у плиты? Зайдешь в клуб, шуганешь шара, он замечется по бильярду... Выйдешь из клуба... Тот же назойливый, надоедливый свет. После темного клуба ломит глаза. Та же жара.

Вдоль домов узкая, полуметровая тень. В ней, прижавшись мохнатым боком к стене, выстроились козы, нос в хвост. Они стоят тихо-тихо, как неживые. Если бы они встали поперек, им бы уже не хватило тени.

Три часа. Самая жара. Пора на смену.

Я подхожу к трубе, из которой узкой струйкой журчит в бочку вода. Подставляю голову. И направляюсь в гору. С волос течет по груди, за шиворот, по спине: приятно. Два километра вверх, в гору, до нашей вышки. Через полкилометра голова суха, а тело мокрое, но уже от пота.

Доползешь — и полчаса отходишь в тени вышки. И пьешь, пьешь...

Но вот с гиком и улюлюканьем побежала вниз пре-  
дыдущая смена. Их смена кончилась.

Наша началась.

Вставай к станку. Жара...

А там, в глубине, где мы не видим, куда рвемся, — прохладно. Там наша цель — в глубокой и твердой прохладе руды: медь.

И от слова «медь» — еще жарче...

**ТАШКЕНТ** В данном случае это не город. Это костер.

Ночью в горах холодно. Пробирает до костей. И темно, конечно. Особенно, если луны нет. А луны, как ни странно, все больше нет. Из-за гор, может быть, не видать?

Ночная смена. Пока подымешься — разогреешься, взопреешь. А вышка на гребне — со всех сторон ветер. И сразу начинаешь зябнуть. Натянешь ватник — все равно. Станок крутится. Сидишь и стынешь.

— Заделаем Ташкент? — говорит Толик.

— Заделаем, — говорю я.

щепок — этого барахла всегда скопится за день. Соберем это в кучу, плеснем солярки...

Горит!

Жарко, ярко. Сразу как-то веселее на душе. Огонь мечется, пляшет, подставляя бока ветру. Куда кинется язык, отступает ночь. А вокруг она сгущается еще больше, еще чернее. Мы с костром — словно это весь мир, площадь которого — свет костра. И больше ничего никогда не было.

Лежим у костра, смотрим в огонь. Иногда на станок: как он там крутится? И снова в огонь. Разговариваем. Говорим словно не друг другу, а костру. Подбрасываем в огонь слова...

— Какая она была красивая!..— Это Толик.— Она была главврач поликлиники, а я шофер. Возил ее. Однажды она сказала: «Сегодня нам никуда не надо — поехали купаться». А я был молодой, красивый — не то что сейчас. Веселый был. Поехали мы купаться. Красивая была... Покупались, потом она говорит: «Поехали к тебе, хочу посмотреть, как ты живешь». Ну, поехали... Я еще по дороге домой позвонил: хозяйка моя, такая старушка,— все понимала... Приезжаем — уже столик накрыт, коньяки, закусочка. Деньги у меня тогда водились. Холостой был — зарабатывал неплохо. Выпили мы хорошо... Песни попели. Я на гитаре. Она так... Эх, сейчас бы гитару!

— И я помню.— Это говорю я.— У меня тоже...

— Вот какие дела,— Толик словно не слышит и продолжает:— И еще была... Дочка директора театра. Я тогда в Куйбышеве работал. Какая была! Одевалась... каждый день новое платье. Ну, каждый день. Я сначала и не думал. Служил шофером в театре. Ну, возил ее иногда, конечно... Она сама меня пригласила: у меня, мол, день рождения, то да се...

И так полночи. Про красивую жизнь, про красивую любовь... Не иначе.

Вдруг замолчим. Смотрим в костер. Подбросим досочку, плеснем еще солярки. Развеселится, зашуршит огонь. Выплеснет в небо сноп искр.

— Ты посмотри за станком, я вздремну немного,— говорит Толик.

Натягивает воротник на голову, а голову втягивает в воротник. И, спящий, становится каким-то маленьким.

Я слежу за станком: гудит, крутится. Посмотрю на приборы: показывают.

Я лежу на животе. Подбородок на кулаках. Передо мной мир — пятно. Камешки. А за камешками — стена огня. И в этом мире разворачиваются свои события...

Огневки слетаются на свет. Вот одна, большая, уже опалив крылья, упорно ползет по камням к костру. Когда подползает слишком уж близко, испуганно бросается обратно, неуклюже взмахивая полуобгоревшими крыльями. И снова ползет к костру. Упорно делает одно и то же, как заведенная.

Выпрыгнул из темноты кузнечик. Сел на камешек под самым моим носом. Сидел, грелся, шевелил усами. Смотрел на костер. Неподвижно, замороженно. Вдруг заволновался. Собрался: хорошо тут с вами... — и прыгнул обратно в темноту. Свои дела...

Выползла фаланга. Ее я казнил.

Смотрю на огонь... И вспоминаю, что уже было так. На берегу озера. Между озером и лесом. Тоже костер. И тоже палились на нем огневки. Только фаланг там не было. И так же, вобрав голову в плечи, спала Ира...

Или как полз муравей по песку. Мы сделали в песке воронку и посадили на дно муравья. Он сразу же побежал по склону. Он очень торопился, но продвигался крайне медленно, потому что песок осыпался под ним. Но в конце концов он добирался до самого края воронки, и тут край обваливался... И он начинал все сначала. Он даже не медлил, чтобы собраться с силами — сразу бросался по склону, вверх, вверх. И снова падал вниз, вниз... И все-таки выбрался. И побежал в том же направлении, словно ничего и не было, серьезный и организованный.

Мне бы так!..

Как редко видишь этот мелкий мир... Странно. За всю жизнь можно пересчитать по пальцам. И хватит одной руки.

Вот тоже было... Обиделся я как-то на всех и на все. Мир почернел. Я сел на электричку и уехал. Потом слез, шел, шел. Уже утихший, сладко жалел себя. Вышел на луг. И бухнулся в траву. Лицом вниз. Огромный, мощный лес встал перед моими глазами — трава. И жители этого леса — огромные звери. Я смотрел, смотрел... И как-то все встало на свои места. Я потом все собирался еще раз съездить. Все собирался...

Непонятно только, когда мы успели ко всему при-  
выкнуть?

Самые обычные вещи: раннее утро, заход солнца, звездная ночь, зимний лес, костер, лунный свет на снегу, небо... Родной город, родной дом, любимые люди... Все-то мы знаем. А что мы помним? Два-три рассвета, запавшие в память на всю жизнь. Четкие, словно это было вчера. Одна-две лунных ночи. Всего одна-две.

Один раз (а то и ни разу) мы увидели небо над головой. Не так: «Смотри, какое небо!» или «Ах, какая голубизна!» — не так. А так, чтобы не уметь говорить — и небо, небо над головой, — все небо! Как увидел его князь Андрей на Праценской горе.

Почему мы не видим? Не удивляемся?

Может, некоторым выпало чего-то больше. Чего-то меньше. А у некоторых чего-нибудь вовсе не было. Это не важно. Важно, что все эти вещи чрезвычайно редки в каждой жизни...

Проснулся Толлк. Растерянное, измятое лицо. Протягивает руки к костру, словно гладит.

Размывается чернота над хребтом. Светлеет.

Догорает костер.

**ПИШУТ ПИСЬМА** Забавное воображение приходит вдруг в голову: мне же гораздо ближе в Индию, чем домой. Во много раз ближе.

Над нашей вышкой пролетает самолет в Китай. ТУ-104. В полдень. Как раз полсмены. Еще пять минут — и он за границей. Вышка стоит на месте.

Нам приходят письма.

По этому поводу — тоже странное соображение. Письма... ведь это поразительно бессмысленное дело!

Представьте себе, что вы далеко: письмо до вас идет неделю или больше. И ваше туда — неделю. Вот вы читаете, волнуетесь и безусловно воспринимаете все сегодняшним днем. В этом вся соль письма. Вы представляете, как именно сейчас движется, думает тот, кто вам пишет, что с ним случилось, что происходит вокруг... И в жизни как говорят? «Что он вам пишет?», «Вот, смотри, друг мне пишет...» В настоящем времени говорят. А на самом деле писал он неделю назад. Уже и забылось ему то, что волновало его в тот день. Но вы отвечаете ему так, как будто он вам только что все ска-



зал. «Ты совершенно правильно написал, что... Я, пожалуй, согласен с тобой насчет... На твоём месте я бы так не поступил...»

Вы отправляете письмо. И оно идет туда неделю.

Две недели, полмесяца, а то и больше разделяют вопрос и ответ.

Ваш адресат получает письмо и с трудом вспоминает, о чем же он таком писал, что вы с ним не согласны или, наоборот, хвалите. Все это было так давно. Сегодня свои заботы, мысли, другие, чем тогда.

Но он вас любит, он ищет в письме прежде всего, что вы пишете о себе. Находит. Волнуется. И отвечает вам точно так же, как вы ему.

В разлуке все приукрашается: город, дом, люди. И письма отражают это, а отразив, идут дальше — уводят вашу память, — все прекраснее, прекраснее становится то, что вы покинули.

Письмо, мягко говоря, — не совсем правда.

Но, может, мне это только кажется? И я сам искажаю все. Потому что ревную ко всему, что оставил...

Как они нужны, эти письма! Пусть не то, пусть неправда, пусть прекраснее, чем на самом деле.

Как мы их ждем!

Пишите нам.

# НАШЕ МОРЕ

**ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ВИДЕЛ МОРЯ** Отработал неделю в утро — воскресенье. Неделю в вечер — воскресенье. Неделю в ночь... снова воскресенье.

— Вот так всю жизнь, — говорит Саня.

Снова семьдесят километров по желтым раскаленным горам. В кузове. А сегодня еще жарче, чем вчера. Пропылились, пропеклись...

Пить!

Скоро уже, скоро город. Там и попьем...

А вот и река. Широкая, гладкая, такая прохладная на вид. Зеленые берега.

А вот и город. Сады, улицы.

А вот и мост.

— Приехали!

Сейчас сразу — и купаться.

Выпрыгиваю из машины и чуть не падаю: ноги какие-то не свои. Тут же у моста раздеваюсь, а с моста — в воду. Течение быстрое, подхватывает и несет. Плаваю, плаваю... Так бы и плавал всю жизнь! Но еще больше я хочу пить. Стоило чуть освежиться, и стало ясно, что больше всего на свете я хочу пить. Пиво. Ларек на том берегу.

Одеваюсь, бегу через мост.

Еле дожидаясь своей очереди. Кружка. Еще кружка. Холодное...

— Дай-ка еще кружечку, Миша, — говорю я. Все его так зовут, все кричат ему: «Миша, Миша!» — этому толстенькому усатому таджику, и я говорю: — Дай-ка еще кружечку, Миша...

Куда пойти: на базар или в опхону? Все становится каким-то замедленным. Желания тоже.

— На, — Миша подает мне кружку, — ты с горы?

— С горы...

— Вот видишь, я сразу увидел!

— Как это ты?

— Так... Я человек опытный. Здорово я отгадал?

— Здорово, — говорю я. Пиво ударило в голову. — Здорово, — говорю я, — хорошее у тебя пиво... Но больше всего хочется есть, — говорю я.

Как-то я совсем затормозился: ни идти, ни двигаться...

— О, в нашем городе можно съесть что хочешь! Равняется тебе наш город?

— Река у вас чудесная, — говорю я.

— Река — да. А ты был на нашем море?

— Море?

— Ну да, море. Он не был на нашем море... Эй, слушайте, он не видел моря!

— Кто? Кто?

— Вот этот человек.

— Бывает же...

— Там человек, который не видел моря!..

— Где?

— Нет, это вы серьезно?

— Что?

— Вы не видели моря?!

— Ну да.

— Так нельзя.

— Надо показать ему море.

— Гурам! Немедленно гони сюда свой мотоцикл.

Мы идем. Сзади эскорт. Прохожие попадают на встречу, не понимают:

— Куда ведут этого человека?

— Так его! Так!

— Что он сделал?

— Этот человек не видел моря.

— Не видел моря?..

— Моря-а-а...

Меня ведут.

Вот и Гурам с мотоциклом.

Садимся, едем. Толпа машет нам вслед:

— Увидите наше море!

— Прекрасное наше море!

— Наше голубое...

— Наше синее...

Город — зелень. И от города, вверх по реке, по пути нашего следования — тоже зелень. Но вот последняя глинобитка, кончились люди, и даже по берегам реки — пустыня. словно все устелено шкурами верблюдов, желтое и многогорбое.

Мчатся слева и справа многогорбые желтые верблюды...

Я в коляске — почетный гость.

Мои проводники: за рулем Гурам, за Гурамом — Мурад.

Едем. Мои проводники перекрикиваются о чем-то по-своему.

— Сейчас мы немножечко остановимся, — говорит мне Мурад.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Мы немножечко поборемся, — говорит Гурам.

— А море?

— Море? Какое море?

— Куда мы едем? — спрашиваю я невольно. (Кругом пустыня, и мотоцикл я водить не умею.)

— Ну конечно, на море. Вот немножечко разомнемся и дальше поедем.

Мотоцикл стоит у обочины. Я сжался в коляске.

Гурам и Мурад кружат друг вокруг друга. Полусогнувшись, на полусогнутых ногах. Вытягивают руки, пытаются ухватить друг друга.

— Суди! — кричат они мне.

Гурам ухватил Мурада. Нет, это Мурад ухватил Гурама. И Гурам и Мурад ухватили друг друга, полетели. Упали. Свалились. Мурад сверху. Нет, это Гурам сверху. Гурам. Нет, Мурад. Гурам — Мурад. Мурад — Гурам...

Ничего не разобрать! Пыль столбом.

Но вот они возвращаются. Обнявшись. Все в пыли, желтенькие. Довольные. Раскрасневшиеся.

— Гурам!

— Мурад! — похлопывают они друг друга по плечам.

Едем дальше. Изумительная дорога. Прямая как стрела. Автострада! Удивительно приятно ехать на мотоцикле... Жара, пустыня. А тебя продувает, обдувает. Еще бы!.. Сто. Сто двадцать. Да... что и говорить, прекрасный мотоциклист.

Но дорога — это чудо. Такая мертвая пустыня... А в ней — такая дорога.

— В прошлом году построили, — говорит Гурам. — Теперь есть, где гонять на мотоцикле.

— Для этого строили... — говорит Мурад. — Смешно сказать: строили, чтобы Гурам гонял на мотоцикле!

— И для этого, — настаивает Гурам.

— Я строил — я знаю.

— Только он и строил, — говорит Гурам. — Один Мурад построил всю дорогу!

— Не один.  
— Вот именно. Я тоже строил.  
— Мы оба строили эту дорогу,— соглашаются Гурам и Мурад.

Дорога — что и говорить! Но и Гурам мотоциклист что надо... Спорит на скорости сто двадцать километров. Как дома!

Мертвейшая пустыня вокруг.

— Это наша целина, — говорит Мурад.

— В будущем году тут будет хлопок! — говорит Гурам.

— Да, теперь у нас есть вода. Теперь у нас есть — море... — кивает Мурад.

Впереди, посреди пустыни, вдруг вырастает юрта.

— Сейчас мы немножечко остановимся, — говорит Гурам.

— Снова бороться?

— Тут наш друг один живет.

Ничего, ничего, думаю я.

Подъехали. Встали. Из юрты вышел молодой узбек.

Долго обнимались. Тщательно.

— Оставайтесь у меня немножко. Как раз плов поспел. Чаю попьем. Послезавтра вернетесь.

— Нам нельзя, — сказал Гурам.

— Зачем обижать! Кого обижать! Больше я вас не знаю. И вы меня не знаете. Всё.

Человек пошел к юрте.

— Ой, Ой! Ого! Ой! — закричали Гурам и Мурад и побежали за ним. Поймали, притащили обратно.

— Дурная голова, спроси сначала, почему мы не можем?

— Почему вы не можете? — покорно спросил убитый горем человек.

— Мы везем человека, который вообще не видел моря!

— А! О! — трясет мне руки весь преобразившийся человек. — Очень рад.

— Что вы? Чему? — смущаюсь я.

— Вы должны ехать, — говорит он, — и немедленно. Только подождите минутку.

Он бежит в юрту и потом из юрты. В руках большой узел.

— Тут немного козленка, плов, сыр, дыня, лепешки и еще...

Мы прощаемся. Клянемся зайти на обратном пути. И снова едем.

А вот и море. Оно показалось справа. Тоненькая голубая полоска. В желтой горячей пустыне.

Дорога подбирается к морю. Действительно, море! Того берега не видать. Барашки.

Мы едем по берегу моря...

**ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА** Наверно, жители города очень обрадовались, когда стали справлять День Военно-Морского Флота с полным основанием. Еще бы, свое море! Правда, пресное. Но волны ходят в нем настоящие. И бывают штормы. И того берега не видать.

В парк культуры и отдыха на берегу моря съехался весь город.

Третий день, но программа еще не исчерпана.

Парк — это та же пустыня. Ни травинки. Лес фанеры. Будочки, ларечки. И крупные сооружения — рестораны — на суше и на море, всего — два. И аллеи фанерных щитов. Благодаря им вы можете узнать, что вам есть-пить, курить, как обращаться с зелеными насаждениями, как не ходить по траве... Вы узнаете историю нашего флота, историю развития области и перспективы развития, и план развития парка культуры и отдыха в ближайшие три года.

Пока зелени нет. Но не все сразу. Будет. Великое слово!

По территории парка разгуливают толпы голых людей. Чрезвычайно популярны тельняшки.

Часть купается.

Мы поставили мотоцикл в огромное стадо машин. Такое у нас бывает перед стадионом во время матча. Гурам и Мурад увидели тельняшки и загорелись.

— Сейчас мы пойдем за тельняшками, — сказал Мурад.

— Тут есть специальный ларек, — сказал Гурам.

Действительно, была специальная будочка, и ничем, кроме тельняшек и тубетеек, не торговала. Шла бойкая торговля. Узбеки брали тельняшки, русские — тубетейки.

Гурам и Мурад были крайне эффектно в своих обновках. Они сновали по парку в необычайном возбуждении и таскали меня за собой.

— Мы должны тебе все показать...  
— Сначала покажем ему тир, — сказал Гурам.  
— Нет, цирк, — сказал Мурад.  
— Нет, тир!  
— Нет, цирк!  
— Слушай, — сказал мне Гурам, — ну скажи ему, что ты хочешь сначала в тир...  
— Он хочет в цирк! — вскричал Мурад.  
— Ну скажи, — сказали Гурам и Мурад, — куда ты хочешь сначала, в тир или в цирк?  
— Мне все равно, — сказал я.  
— Постой, постой, ты нас не так понял, — сказал Гурам.

— Ты не так сказал, — подхватил Мурад, — ты хотел сказать, что ты хочешь в цирк.

Был цирк, и Мурад был вне себя от восторга. Был тир, и вне себя был Гурам: он попадал, мазал, кричал, что он мастер спорта, ссорился из-за винтовки.

Но это было не все.

По парку ходил голый человек в полосатых трусиках и кричал в рупор:

— Экскурсия на тот берег! Прогулки по морю. Прогулка по тому берегу. Возвращение обратно. Желающие, спешите!

— Сейчас мы поедем на тот берег! — сказал Гурам.

— Мы поедем по нашему морю...

— На этом большом теплоходе...

Меня повлекли к кассе. Гурам и Мурад оттеснили желающих.

— Пропустите, пропустите! Он не видел того берега, — предъявляли они меня. — Он вообще ничего не видел.

Маленький буксирчик запыхтел и отчалил.

Я стоял придавленный к борту. Команда каким-то образом порхала над головами.

— Плясать? Плясать! — закричали за моей спиной.

Раздался круг. Это я почувствовал по тому, как врезался в меня поручень. Такая шишечка.

— Блоп! Блоп! — хлопали ладоши.

Я не мог повернуться, чтобы посмотреть, как пляшут. Мои проводники были где-то в другом конце. И теперь я спокойно плевал за борт и предавался грустным мыслям о туризме. Плевков быстро убежал назад.

— Сниматься? Сниматься! — закричали голоса.

На трубе висел фотограф. Сложная, как акробатическая пирамида, выросла на корме группы.

— Петь? Петь! — закричали голоса.

— Причал! — орал капитан в рупор.

Экскурсанты высадились на берег. Я осмотрелся. Здесь была дикая природа. Не было ни будочек, ни щитов. Была голая пустыня.

Ко мне подошли Гурам и Мурад.

— Здорово? — спросили они.

— Здорово! — восхищенно сказал я.

Тут обнаружилось, что никто ничего не захватил с собой: все думали, что тут будет ресторан.

Заспешили обратно.

Когда мы снова очутились в парке, Мурад сказал:

— Теперь — бал-маскарад!

Под большим тентом толпились люди. С краю приюстился оркестр.

— Начинаем наш костюмированный бал-маскарад! — сказал длинноусый человек и снял усы, как пенсне...

Мы тут же потерялись.

...Наконец, раскрасневшиеся и запыхавшиеся, Гурам и Мурад отыскали меня. И мы съели все, воздавая должное нашему замечательному другу.

Потом мы гнали по ночной пустыне. Тянуло свежестью и прохладой.

Вот это день! Мы ехали довольные и усталые.



# ОДНА СТРАНА

**ЧТО ЛУЧШЕ, ЛЕНИНАБАД ИЛИ ФЕРГАНА?** Никогда я не слышал, чтобы человек так смеялся! Это было на пути в Азию. Курящие собирались в тамбуре. Приближение родных мест определяло тему разговора.

— У нас в Намангане...

— А у нас в Ташкенте...

— А вот у нас в Канибадаме...

Люди возвращаются в родные места. Они и говорят. А едущие из родных мест — в командировку, в гости — прислушиваются. И я прислушиваюсь.

Один — очень симпатичный, большой и толстый узбек, с седым бобриком волос, флегматичного вида. Другой — противоположный ему...

Большой сказал:

— У нас в Фергане...

— В Фергане?.. Ну, что у вас в Фергане? — напал противоположный.

— Ты что... Фергана знаешь какой город!

— Что вапа Фергана перед Ленинабадом?!

— У-ах-ха-ха-ха-ха! — захлебнулся большой. — Ленинабад лучше?

— Вот и ты говоришь, что лучше.

— Я? И-иг-ги-ги-ги-ги! Я говорю?.. И-и-ог-го-го-го-го-го!

— А что у вас! Ишаки...

— Ишаки... — Большой словно не мог уже больше, так его рассмешил этот глупый человек... — Пш-ш-ш... Вш-ш-ш... — выпустил он воздух, как пар из паровоза. — Ишаки?... — Ох-гу! Ух-го! — ухал он. — А у вас... — его душило, перехватывало дыхание. — А у вас текстильный комбинат есть?

— А у вас такси есть?

— У нас?? Хо-хо-хо...

— Кишлак — твоя Фергана...

— А твой Ленинабад... твой Ленинабад... твой... — Большой так и не мог сказать. Его выворачивало, его разрывало, с ним могло быть плохо.

говорил, но он ничего не мог поделать с противником: он не умел так великолепно смеяться... Наконец он выцарапал еще:

— У нас Сыр-Дарья, а у вас так... арык жалкий.

— Он говорит, арык... Уох-хох! Уох-хоу-хох! — лаял большой. — Фьить-фьить! — свистнуло в нем. — Он говорит, Сыр-Дарья... — У-а-ах... Буль-бульк! — Булькнуло в нем. — Арык?..

Тут нужен был магнитофон, чтобы записать пять минут самого искреннего, самого убежденного, самого заразительного и самого разнообразного смеха, на который был способен только этот великий человек.

Хохотал весь тамбур.

И действительно, что лучше, Ленинабад или Фергана?..

**БОЕКОМПЛЕКТ** Последнее время я все думаю об одном: очень мало может вместить в себя один человек. Чтобы по-настоящему, глубоко и вечно. Что дано человеку в боекомплект всего по одному:

одна страна,  
один язык,  
один город,  
одно дело,  
один любимый человек.

Можно жить повсюду, и изучать языки, и браться за многие и разные дела, и знать много людей... Но всегда, через всю жизнь проходит что-то одно, а остальное — второстепенное. Наверно, бывает, приходит и другое. Но тогда уходит первое: Вместе не бывает.

Очень редко дается человеку увидеть родину. Почувствовать ее рядом. К ней ведь мы тоже привыкаем и не замечаем. А она ведь всегда рядом, эта одна-единственная страна.

**ГДЕ РОДИНА?** Я тоскую по родным местам. Я — русский. Но вот в смысле природы я тоскую по Карелии. Детство... Родные имена: Вуокса, Метсала, Линтула, Сайя-йоки — чужой язык. А самой России — средней полосы — я не знаю вовсе. Пока не успел. Но от этого я не менее русский. А вот в Средней Азии есть русские, мои сверстники, они снега не видели, травы, озер, леса, грибов, ягод не видели... И они тоже русские, и никакие другие. Совсем русские...

Когда я ехал в Азию, я стремился туда, и за окном вагона, от станции до станции, все явственней проступали приметы Азии. А когда ехал обратно, проступали приметы России. И Россия началась много раньше Оренбурга. Так мне хотелось.

И вот я думаю.

А если бы долго плутал по всему свету, а потом возвращался домой, — может, Россия началась бы в Кушке?

А если бы вернулся с Марса и приземлился в Африке...

Где кончаются и где начинаются родные места?

**СЛОВО ПРОТИВ ТУРИЗМА** Ничего не имею против туризма — спорта. Спорт есть спорт. К тому же это трудно. А раз трудно, значит, человек соединяется с природой. Объединяется с ней.

Но вот меня всегда удивляло, как это можно приехать осматривать что-либо. В три дня турист опрыгает все театры, музеи, достопримечательности — обскочит столько, сколько ты, старожил, не видел за всю свою жизнь здесь. Но разве станет турист ленинградцем или москвичом оттого, что успел все? Разве он сможет понять Ленинград, как ленинградец, и Москву, как москвич? По-моему, они не видят ровным счетом ничего. Вернее, все туристы видят одно и то же, будь это Америка или Африка, Париж или Рим, видят захватанные миллионами посторонних глаз случайные вещи.

А чтобы что-нибудь увидеть, надо жить в каждом новом месте жизнью тех, кто там живет. Лучше всего — работать. Сразу включиться в режим жизни обыкновенных людей. И даже если у вас в распоряжении три дня, и то их можно прожить со всеми. Главное, не спешить все увидеть. Раньше, чем вам будет положено, вы все равно ничего не увидите.

Я не говорю: не надо ездить. Не говорю: сидите на месте. Всем известно — путешествие расширяет кругозор. Это верно. Но заключается это расширение в том, что шире видишь родину.

Смысл путешествия в том, что вернешься домой — и насколько богаче.

Люди путешествуют и возвращаются,

# ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ

I. Вот и кончились четыре месяца.

Я привык к природе, климату, людям. Мне уже не скучно. И я подумал: а не остаться ли мне еще на месяц? И уже совсем было склонился к этому. Даже написал об этом домой. Но вот подошел срок: я могу уехать, но могу и остаться. И вдруг пропадает всякая ко всему охота — скорей бы домой!

II. Странно, особенно трудно расставаться с теми, с кем чаще всего собачился и ссорился за эти четыре месяца, кто долго не принимал тебя всерьез, долго не открывался тебе. И им грустнее всех расставаться с тобой.

— Привыкли мы к тебе... Жалко, что уезжаешь.

Это сказал Саня. Мы долго были с ним не в ладах. Даже дрались.

— До свидания! Пиши! Приезжай снова...

Машина трогается. Я стою в кузове и машу рукой. Впереди та же дорога, изученная по субботам и понедельникам.

В последний раз увижу двух лошадей и поле люцерны...

До свидания.

А с теми, с кем с самого начала установились ровные, ласковые, в чем-то равнодушные отношения, с теми расстаться было не так трудно.

Мало я тут пробыл, и уже многое хотел бы захватить с собой...

III. Интересно, что я везу с собой? В буквальном смысле: чем набит мой рюкзак... Оказывается, все, что я приобрел здесь, можно было купить и в Ленинграде. Просто здесь это напоминало о нем, о доме. И постепенно этим набился рюкзак. В основном это книги.

IV. Все-таки я не так уж спешил домой. Я сделал лишнюю пересадку, чтобы посмотреть Ташкент. Рассчитывал пробыть там три дня.

Я знал, что в Ташкент приехал один мой хороший

ленинградский знакомый. Но я не собирался идти к нему. Потому что и так мало времени, а надо все осмотреть, потому что он все равно через месяц вернется в Ленинград и я его там увижу, и, наконец, потому, что мне не к чему расспрашивать его о Ленинграде, раз я сам в нем буду меньше, чем через неделю.

Ташкент... прекрасный город! Но вдруг мне стало нестерпимо скучно быть в нем чужим, глазеть и ничего не делать. Пусто как-то.

И я пришел к своему знакомому, и мы целый день, не вылезая, проговорили о Ленинграде, о знакомых, о себе. А вечером я уехал из Ташкента, не пробыв в нем и суток.

V. Едешь, едешь, едешь, едешь. И вдруг проснешься. Была ночь — стало утро. Посмотришь в окно. Речка, луг, роща, проселок. Столбы, столбы. Опять речка, роща... Избы. Луг. Дорога по лугу. Перековыляют дорогу гуси. И какой-то город, Ряжск или Мшанск...

Другое дело.

А на станциях нет людей в халатах и нету фруктов. Слава богу, нету фруктов! Бабы в платочках выносят на перрон горячую картошку, соленые грибы, соленые огурцы, морошку, чернику...

Как хорошо!

Едешь, едешь, едешь, едешь. И вдруг проснешься:  
— ЛЕНИНГРАД!

## ЭПИЛОГ

Вернувшись из путешествия, он впал в глубокую тоску по бескрайним просторам своих пустынь. Жизнь в имении была ему постыла. Он уходил с ружьем на целый день в лес, чтобы как можно больше устать и вернуться прямо ко сну. Тюфяк, на котором спал, он набил хвостами яков.

Из книги о Прижевальском

Странно сознавать себя одновременно домоседом и бродягой. Когда я уезжаю, мне кажется, я прирожденный домосед и зря все это затеял. Разлука приводит к переоценке ценностей. Все дороже становится то, что оставил. Вернее, не переоценка, а возвращение ценности. Только бы вернуться... Теперь-то я все понял и оценил. И знаю, что мне всего дороже и что мне нужно.

И вот я дома.

И уже совсем не понимаю, для чего меня тянет из дому... Для того ли, чтобы увидеть что-то новое, или для того, чтобы еще раз расстаться со всем родным, чтобы оценить его еще раз и полюбить еще больше?

Я уезжал из дому и все оставил дома. И не мог забыть то, что оставил. И стремился домой.

А теперь что-то оставил там, в Азии...

Это, конечно, наивно и глупо, но вчера произошел такой случай: я захотел зеленого чая.

— Есть у вас зеленый чай?— спросил я в магазине, в полной уверенности, что его не может быть.

Оказалось — есть.

Вот и все. Я пью дома зеленый чай. Удивляю родственников: как можно пить такую гадость?..

— Чудаки,— говорю я,— вы просто не понимаете, насколько он незаменим в жару. Только им и можно напиться!

— Какая же тут жара...— говорят они.

Вот и все.



# **ПУТЕШЕСТВИЕ К ДРУГУ ДЕТСТВА**

**(Наша биография)**





Путешествие — старое слово. Все называется теперь иначе: командировка, поездка, экскурсия. Предотъездные волнения... Беготня по служебным коридорам — бумажки, подписи, и командировочные в кармане наконец. Прощание со случайно встреченным, тоже бегущим, убегающим приятелем — погребок, еще погребок... Возвращение домой — настороженная жена, а шапка у тебя, как ты вдруг обнаруживаешь в зеркале, глупо съехала набок, и глаза блестят и бегают... Да вот, уезжаю... завтра... вот и билет, посмотри... да нет же, ничего я не истратил!..

И ты едешь, летишь. Десять тысяч километров — и снова бегаешь по таким же коридорам с такими же табличками, знакомишься, знакомишься, трясешь руки, уши болят от улыбок. Летишь в соседний город и на обратном пути лениво спрашиваешь: какое тут расстояние между этими городами, сколько тут километров? Оказывается — восемьсот. А тебе казалось, ты выехал за город, скажем, в Комарово.

Неделя, другая — и опять те же десять тысяч километров. Вылетаешь утром и прилетаешь утром. В тот же день. Стоп, приехали. Пиши авансовый отчет.

Две недели, двадцать пять тысяч километров — какое путешествие! — командировка. А главные люди для тебя — брезгливые бухгалтера и равнодушные кассиры: мало ли вас ездят! Ездят все и ездят.

И все-таки в данном случае это то **СТАРОЕ СЛОВО**. Слово: путешествие! Оно длилось двадцать пять лет, двадцать пять раз по двадцать пять тысяч километров — летных, железнодорожных, в кузове и пеших. Мы сбрили двадцать пять километров бороды и снова ею обросли. Мы седем, лысеем и вставляем зубы. «Таковыми ли мы были в ваши годы! — говорят нам. — Вот мой дед, девяносто лет, все зубы целы и ни одного седого волоса. И помер-то случайно: надорвался, катя жернов из деревни в районный центр». А мы все возвращаемся на родные пороги, топчемся, отряхивая снежок, и смущаемся понемногу: что это — сердце? А мы обнимаем, целуем и таем от счастья.

Конечно же, путешествие! Вся жизнь.

А с меня уже пуговицы сыплются.

«Очень вы нам нравитесь, — сказали мне в редакции, — вот мы вас и вызвали». — «Да, — говорю, — как приятно!» — «Вот вы такой-то и такой-то, — говорят мне, — и диалог у вас, и пейзаж — весь вы какой-то такой, какой нам нужен. Пора вам сделать что-нибудь и для нас...» Вот сижу я в мягком кресле, киваю, смущаюсь, пытаюсь казаться скромным — а я уже не я, мягкий, как кресло: растаял. «Вас должна заинтересовать, — говорят тогда мне, — такая злободневная тема, как строительство коровников без применения...» — «Да, пет, знаете, как-то, — говорю я, чуть трезвея, — это очень, конечно, по я, вы понимаете...» — «Понимаю, — говорят мне, — вам это неблизко. Ну а вот, например, проблема экономии кожи при закройке обуви, помощь ученых в этом вопросе...» — «Нет, — говорю я тверже, — я ведь ничего в этом не смыслю». — «Это и не требуется, — говорят мне, — просто вы со свойственной вам...» — «Нет, — говорю я твердо. — У вас есть другие люди, которые имеют в этом опыт и прекрасно справятся, а какое отношение имеет то, что я делаю, к тому, что вы предлагаете?» — «Ах, вот вы о чем... — сказали мне. — Вы, наверно, думаете, что мы собираемся как-то вас ограничить, изменить, принудить? Боже упаси! Нас как раз интересует сохранение вашей творческой индивидуальности в том, что вы для нас напишете, именно это нас и привлекает, иначе бы мы просто послали Сидорова или Петрова. Если ваша манера не сохранится в материале, то он нам, говоря по чести, и не нужен. Мы лучше тогда Сидорова или Петрова пошлем — он, по крайней мере, справится. А мы именно хотим, чтобы вы поехали».

**ДОРОГОЙ МОЙ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.** «Нам нужен свежий, новый, остроположительный материал. И вот чтобы в вашей манере...» — «Да ведь материал-то к манере безразличен!» — восклицаю я. «Не совсем вас понимаю, — говорят мне, — как раз интересно, чтобы вы попробовали применить свою манеру на незнакомом материале. А что вы так умеете, как вы умеете, то это мы и так знаем. А тут может получиться приятная для всех неожиданность...» — «Вот именно, — говорю я, слабая, — неожиданность!»

Я кошусь в зеркало и вижу, как на мне вспыхивают свежие седые волоски. «Неужели вас не волнует положительный герой и его проблема?» — «У меня все поло-

жительные...— скучно говорю я.— На отрицательных у меня сил не хватает».— «Да нет,— говорят мне,— я про других положительных говорю. Герои, маяки... Неужели вас это не трогает?» — «Не знаю,— говорю.— Только героизм, по-моему, не черта, а проявление, в обстоятельствах... А так все люди обыкновенные. Живут — тем и герои».— «Да,— говорят мне,— интересная мысль... Я вас, кажется, не всегда понимаю... Ну так как же насчет какого-нибудь героя?»

— Есть! — вдруг кричу я с радостью и отчаянием.— Есть один! Как же я забыл! Знаю одного, хорошо знаю. С детства. Вот уж положительный, вот уж герой! В вулканы лазают. Каждый год себе что-нибудь ломает: руку, ногу, шею. И никто его, заметьте, не гонит — сам лезет, совершенно бескорыстно, в самый кратер. Не человек — символ!

— А вы говорили... — И мне улыбаются виноватой улыбкой.

И я уже лечу. Как ты там поживаешь, мой положительный герой? Надо же, куда тебя занесло! Послушай, а правда, что ты в эти вулканы лазаешь? Все-таки я очень тебе рад. Сто лет не виделись. И когда бы еще свиделись? И вот вдруг, ни с того ни с сего... О тебе уже столько писали! Теперь мой черед. Напишу я о тебе, дорогой мой положительный, вещь легкую такую, пузырястую, словно в тонкий стакан парзану налили.

Уже есть, что вспомнить...

Помнишь, как тебе исполнилось семнадцать... А дальше... Дальше? Пошло, поехало! Оглянулся — двадцать. Оглянулся — тридцать. И оказывается — что-то уже сделано, надо задумываться над тем, что ты не ребенок. Вдруг замечаешь, к примеру, что вот подходит автобус и, если ты не побежишь, то он отойдет, и если раньше ты обязательно побежал бы — к спеху, не к спеху, побежал бы — и вскочил бы и повис, то теперь идешь себе и автобус сейчас отойдет — а не бежишь. Он отойдет у тебя под носом, а ты чинно встанешь первым в очереди и начнешь терпеливо, без озлобления, ждать следующего. И не то чтобы бегать уже разучился или врачи запретили. Просто вдруг неохота бежать и поспевать на этот автобус, можно и подождать и подумать о чем-то незаметно.

**ЗНАКОМЫЕ, ЗНАКОМЫЕ...** Встретишь приятеля, школьного, старого, на одной парте сидели — и говорить не о чем. Переберешь, кого видел, — и окажется: никого не видел. Ну, как ты там? Да ничего. Слышал, пописываешь? Да вот, грешу. И разошлись. И стыдно чего-то.

Не так давно одного из нашего класса встретил — Костю З. Он только срок кончил: бродил по городу и вдыхал родной воздух. Разговорились. Все он такой же, не изменился. Посерел, поредел как-то с лица — а так то же самое. И никак не представить мне было, что он — преступник. Все его маленьким видел: все тот же легкомысленный, неспособный мальчик — не медалист. Костя поразил меня одной историей. Я тогда чуть ли не впервые задумался, что мы все-таки уже не дети. «Представляешь, — говорит, — вижу я, в садике две девочки симпатичные на скамеечке сидят. Ну, подсаживаюсь. То да се. А они — даже не реагируют. Я и так и этак. А они — словно и нет меня. А я ведь так ничего себе, и с лица и в разговоре. И девочки не то чтобы очень строгие на вид. «Да что же это такое?» — думаю. Попробовал еще — никакого результата. Тут я не выдержал и говорю: да что же это, девочки? Невежливо даже как-то. А они мне: «А нам неинтересно — ты уже старик». Старик, а? Каково?!» Костю вскоре опять посадили, а я эту его историю частенько вспоминаю и себя одергиваю.

И забавляешься домашней статистикой. Большие числа — большая точность, малые числа — точность, конечно, поменьше. Но уже и не так мало людей прошло через жизнь — можно их вспомнить и обнаружить статистические закономерности. Процентовка грубая — в бюллетене ее не опубликуешь. Но вот окончили лет двенадцать назад школу двадцать пять человек: два кандидата наук, пять офицеров (один уже майор), один секретарь райкома комсомола, один лесник, один даже в сумасшедшем доме... Остальные выпали из поля зрения, но тоже почти все специалисты, почти все женатые — способный выпуск, рекордное число медалистов (десять, что ли?). И еще один — знаменитый человек, во всех газетах прописан, начальник экспедиции, изучает вулканы — мой друг. И я.

Разные получились из нас люди. Даже не верится. Действительно ли я сидел на одной парте с этим

человеком? Скажешь об этом кому-нибудь — можешь попасть в неловкое положение. Подумают, врешь. Будто, если он такой знаменитый, то он и ребенком не был, и в школу не ходил, и никто с ним за одной партой не сидел...

И все-таки это он. Мы сидели на одной парте. Более того, мы ходили в один и тот же детский сад. Быть может даже, выходили на прогулку в одной паре. Что пишут теперь о моем друге?

**ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ**

**ПОКА ДРЕМЛЮТ ВУЛКАНЫ**

**ШАГАЮЩИЙ В БУРЮ**

**К ТАЙНАМ ДЫМЯЩИХСЯ ГОР**

**ИДУЩИЕ ПО ОБЛАКАМ**

**ВУЛКАНЫ НЕ МОЛЧАТ**

**РОБИНЗОНЫ ШТУРМУЮТ ОГНЕННОЕ ЛОГОВО**

**ПУЛЬС ВУЛКАНА**

**ВТОРГЯСЬ В ОГНЕННОЕ ПОДЗЕМЕЛЬЕ**

**ВУЛКАН ПРОСНУЛСЯ**

**В ПАСТИ БЕЛОГО ДРАКОНА**

**НА КРАЮ ПРОПАСТИ**

**СХВАТКА У ЛОГОВА ДЬЯВОЛА**

**КАРЛИК СТАНОВИТСЯ ВЕЛИКАНОМ**

**ПОКОРИТЕЛИ ОГНЕДЫШАЩИХ ГОР**

**ПОВЕРЖЕННЫЙ ВУЛКАН**

Это еще только заголовки! Причем далеко не все.

Как много сделано, если верить газетам. А если сделано так много, то сколько же прошло времени? Тоже много? И с другой стороны, все, конечно же, только начинается. Как всегда. Так сколько же нам лет на самом деле? Сколько же мне лет, если мой друг уже в вулканы лазает?

Старик — не старик, конечно. **ЗНАКОМЫЕ, ЗНАКОМЫЕ...** Очень еще молодой даже. Но вот забавно. Десять лет назад — редко, когда знакомого встретишь. Бродишь, бродишь — людей много, а знакомых нет. И всем в лица вглядываешься. Разные люди, незнакомые — интересно. Теперь бредешь, весь в себе, никого

и не видишь вокруг — окликают. Ты ли это? Сколько зим! Да, это я. Подумать только...

Нынче выйдешь на улицу — и все знакомые, знакомые. И незнакомые словно бы уже тысячу лет в твоих незнакомых ходят, так что как бы и тоже знакомые. Зайдешь в кино — обязательно знакомый, в ресторан — знакомый, в трамвай — знакомый. И где только с ними виделся? Когда успел? С тем в экспедиции, с этим — в армии, с тем — учился (в школе, техникуме, институте — нужное подчеркнуть), а вот с этим — в отделение, как-то раз было, попали... Идешь по пляжу — подумать только, вот этот маленький, седенький, пузатенький — кто бы это мог быть? Отчего это он на меня так испуганно смотрит? Да это же капитан Бебешев, замполка по хозяйности! Он меня как-то на губу ни за что загнал. Просто ненавидели мы друг друга. «Вот встречу на гражданке!..» — грозился я. И встретил наконец. И словно озарение и радость: «Ба, Николай Васильевич! Вот неожиданность!» А он, дурак, пятится: то ли не узнает, то ли узнавать не хочет. Признал все-таки. Бойтся он, что ли? Вот чудак! Да я же люблю его в эту минуту. И не помню зла. А он все жметяся. «Молодец, молодец... — говорит. — А вот я уже в отставке, — говорит. — Тут за городом и живу. Домик себе справил...»

Боже, думаешь... И этого человечка я ненавидел и боялся и зависел от него? И времени-то прошло почти ничего — лет семь... И ухожу. А он стоит, седенький, пузатенький. Жена толстая. И вокруг белоголовые детки ползают. А ведь зверь был! Уж как его не любили. Чуть в тюрьму меня не загнал. Что ж поделывать, человек, не трону я тебя, рад я тебе — память все-таки, мое прошлое — не твое...

Что говорить, новых знакомых уже и сосчитывать трудно и словно не замечаешь их. Словно бы познакомился — то это еще и не познакомился. На следующий день и не заметишь и не вспомнишь, и тебя не заметят, не вспомнят. Мало ли кто кому руку за день подает.

Знакомых много, а друзья... где они?

### КТО БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ!

...В течение двух минут три угловых удара! Темп игры пределен. На скользком от дождя поле все время надо быть начеку. В игру вступает вратарь «Буревестника» Генрих Ш. Великолеп-

но взяв верхний мяч, он спасает команду от, казалось бы, неминуемого гола. В игре обозначается перелом. И вот уже атакует «Беревестник». Гол! Еще гол! Теперь ясно, кто чемпион города по футболу...

Господи, кто чемпион? Конечно же, мой друг Генрих. Кто же еще.

Как он теперь выглядит?

...Белой июньской ночью по гранитной набережной Невы шел человек. Хотя он несомненно о чем-то глубоко задумался, шаги его были легкими, уверенными, выдавали хорошо тренированного спортсмена. Если бы автор в предыдущих главах, пытаясь передать стремительный ход событий, не опустил важное описание портретов, читатель сейчас по высокой, худощавой, но крепко сбитой фигуре, по узкому тонкому лицу с острым углом подбородка и по большим, немного подернутым влагой глазам без труда узнал бы Генриха...

*(«В пасти белого дьявола», газетный очерк).*

Узнаю ли я тебя без труда? По глазам, подернутым влагой? Когда я видел тебя в последний раз?

Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах — и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех — никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось: что там? Не случилось ли чего? ПЯТНИЦУ ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ БУДУ ЖДАТЬ ФИНЛЯНДСКОМ ВОКЗАЛЕ ГЕНРИХ. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу?..

Я, конечно, прибыл. Озираюсь. Вдруг меня хватают и тащат. Генрих! Боже мой... Но мне **ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ.** не дают ни повосклицать, ни поохать. Меня впихивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места — он уже знает, куда. «Нельзя терять ни минуты», — говорит Генрих. Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности, и я подчиняюсь.

Из суровых недомолвок и отдельно оброненных мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть, это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих же будет моим братом, конечно, старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на два дня, и поэтому мне надо скорее, так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен. Он, Генрих, и сам бы сдал, но ему действительно завтра лететь назад на вулканы,



и ему нужно без осечки — я ведь знаю язык лучше его. И тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит — экзамен по языку.

Так-то так. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина — доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно — ее хорошие знакомые, должна была подобрать экзаменатора пообрее.

Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня, в свое время, тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать. К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые, дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих, и тогда вся затея может даже рухнуть. О чем я сбивчиво и рассказываю Генриху. «Так что придется тебе самому сдавать», — говорю я. Генрих отнесся к этому совершенно спокойно, как и подобает человеку, постоянно рискующему своей жизнью. «Ну что ж, — сказал он, — только как я объясню все это Ей (он имел в виду доцентшу), она ведь нас ждет, чтобы представить меня, то есть тебя, экзаменатору». — «Придется открыться, — говорю я, — тут уж ничего не поделаешь». — «Да...» — соглашается Генрих и скрывается в ее кабинете. Через минуту он появляется с маленькой миловидной женщиной, и они вдвоем направляются ко мне. Этого я не ожидал. Она смотрит на меня широко распахнутыми восторженными глазами: «Так это вы?!» — «Я...» — говорю я. Почему она так смотрит? Может, она меня читала и ей нравится, как я пишу? Я надуваюсь и краснею. Она проникновенно жмет мне руку. «Вот вы какой!» Хоть мне и лестно, начинаю чувствовать что-то не то. Пожимая ей руку, называю себя по имени. Чувствую резкую боль в боку. Это Генрих. Не могу вздохнуть. Она внимательно смотрит на Генриха. «А вы непохожи...» — говорит она. Тут я начинаю понимать: Генрих ничего ей не сказал и сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем. «Что же ты!» — дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайтесь внимания, — говорит Генрих и не краснеет, — он только с самолета, одичал там несколько на вулка-

нах...» — «Ну как там погода?» — говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. А я-то, дурак, растекаясь — это же она на Генриха так смотрит, а не на меня, потому что я — Генрих, великий Генрих, железный Генрих, бесстрашно спускающийся в жерла вулканов, русский Тазисев, Вулканавт-1. А я-то... «Ничего, — говорю, — погода». — «Какой-то он у вас странный...» — говорит она Генриху. «Он всегда такой», — не задумываясь, отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным, все работает на образ, и, наверно, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщины и о тщетности наших усилий нравиться им или нет, потому что мы или правимся или нет, и тут уж ничего не поделаешь, и всегда ошибаемся, думая, что правимся или не правимся благодаря таким-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам.

И так мы все ближе подходим к моему старому учителю, к нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но, на счастье, он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня последний восторженный взгляд. «Что же ты! — зло шепчу я Генриху. — Почему же ты ей не сказал?» — «А не смог...» — спокойно говорит Генрих. «Ты все на свете можешь, а такого пустяка не можешь?» Генрих лишь пожал плечами.

Появился мой учитель: как всегда, галстук на боку, машет толстенным портфелем, и весь не то прыгает, не то летит. А за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждают добряка — он, по-видимому, последний и верный шанс на передачу. Мы с ним всплескиваем, вскрикиваем, обнимаемся. Я представляю ему Генриха. Учитель устало отмахивается от наседающих, не перестающих ни на секунду что-то скучно и однотонно лепетать, студентов; они суют ему какие-то бумажки; близорукые его глаза, кажущиеся махонькими под толстыми и слопстыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся, и он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю...» А я шепчу ему не по-русски, какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый, какие у него небывалые обстоятельства (послезавтра в вулкан лезть), что ему надо непременно сегодня сдать, и я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепив-

ших его и что-то канючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать.

Студенты отгесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке, — говорю я, возвращаясь к Генриху, — сдашь». — «Технического-то я не боюсь, а вот политического текста боюсь, — говорит Генрих. — Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты: у нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «Нью-Таймс», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит — о, бедный мой учитель! «Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала». — «Нев тимес», — невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен.

Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» — без конца спрашивает он. Мне страшно за него, ему — нет. Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя.

Но это еще не все. Мы видим, как по коридору к нам приближается та милая женщина, что меня, то есть Генриха, протезирует в этом темном деле. И прежде чем я успеваю остолбенеть, Генрих хватается меня и куда-то тащит. Но тут сразу тупик, и лишь налево закуток, и дверь заколочена. Две девушки, красивые, стоят и курят и нас снисходительно обмеривают. И все это в двух шагах от кабинета моего учителя. И мы слышим: «Да, я уже знаю, — говорит мой учитель. — Нет, в очках — это мой бывший ученик, он писатель, я его очень хорошо знаю, он мне рассказал про своего друга... Нет, нет, не брата, а друга. Ну да, вулканолога, он туда лазает... Да нет же, в очках это ученик мой... У меня уже голова кружится... Ну да, я, наверно, путаю. Да, конечно же, мой ученик без очков, а тот вулканолог — в очках. Так они братья — скажите, пожалуйста...» Мы слышим, как к нам приближается цокот ее каблучков, Генрих запикивает меня за дверь и запикивается следом сам. Мы, стало быть, великий вулканолог и писатель, взрослые люди, прячемся от маленькой женщины. Я-то уже давно чувствую себя снова в пионерлагере, и вот мы с Генрихом убегаем от «воспиталки». Она уверенно приближается к нам и заглядывает за

дверь: «Вот вы где? Что же вы от меня прячетесь? Ну, все в порядке», — говорит она. И снова смотрит на меня с восхищением: «Какой вы странный!» Странный, подумать только...

Экзамен Генрих, конечно, сдал. «Удовлетворительно?» — спросил я с робкой надеждой, когда он вышел из аудитории. «Почему же, удовлетворительно? — невозмутимо сказал Генрих. — Хорошо». — «Хорошо?!» — изумился я. «Жаль, не отлично», — сказал Генрих.

Я возвращался тогда домой, разбитый, с печальными мыслями о том, как неинтересно, скучно и тускло я живу в этой жизни, где на каждом шагу нас подстерегает приключение и опасность.

Вот я лечу к тебе в самолете, через всю страну, лечу к другу детства, давно я тебя не видел. Лечу и встречаю знакомых. Выхожу в Омске — знакомый. Он — туда, а я — оттуда. Или наоборот. **ЗНАКОМЫЕ, ЗНАКОМЫЕ...** Он — оттуда, а я — туда. Тоже и с ним давно не виделись. А когда-то вместе ели, спали, пили, работали — не разлей вода. Пеклись под жарким нерусским небом и пили одну и ту же теплую рыжую воду из общего в маршруте котелка... Вот тогда-то он, оказывается, и облысел. Все голову перед маршрутом под струйку подставлял, родничок там такой был, а вода радиоактивной оказалась. Они потом там крупное месторождение открыли. Месторождение стоило ему волос, но он говорит, что оно их стоит. Ему виднее. Вот мы снова и встретились. Встретились, выпили, разлетелись. Он — туда, а я — туда. В разные стороны.

И в Иркутске — знакомый. Мы с ним в Иркутске же и познакомились года три назад. Вместе ночь в аэропорту коротали. Выпивали и ждали погоды. Он и теперь вторые сутки ждет. И вот мне вдруг кажется, что то ли времени за эти три года никакого не прошло, а все вчера было и сегодня продолжается, то ли три года эти прошли, а только так и не дождался он за эти три года погоды, чтобы вылететь, и так и сидит все в Иркутском аэропорту, а командировочные все тают и тают. И действительно, девочку в справочном он зовет Катенькой, и она улыбается ему, как своему, а швейцара в ресторане — Петенькой, голубчиком, и тот пропускает его вне всякой очереди.

Да что говорить, и в Хабаровске тоже нашелся знакомый, не такой близкий, я его не узнал даже, это он меня. Но все же — знакомый. Словно попал я в некое птичье племя, перелетное время. И все летаю, летаю. Туда, сюда. И обратно. Зачем, куда? Туда ли я лечу или обратно?.. Вдруг в самолете я легко представил, что вовсе я не из дому лечу, а наоборот — домой возвращаюсь. Полная иллюзия. Словно летают все время одни и те же люди, и перезнакомишься один раз в самолете — потом всю жизнь встречать будешь. И бортпроводница входит в салон и говорит: тут уже все не в первый раз летят, так я ничего объяснять не буду, вы все и без меня знаете, — и улыбается, как своим. А почему бы тут, думаю, и не быть новичку, впервые взлетающему? А нет, говорят. Такая авиация.

Лечу я к другу детства и читаю газеты и журналы разного возраста, специально к этой поездке подобран **СЕДЬМОЙ ПОДВИГ ГЕНРИХА.** ные — целая пачка, — вживаюсь, так сказать, в образ.

...Вулканолог Коля Безбородов огорченно махнул рукой:

— Неважные у нас дела. Снова Генрих в больнице.

— Вулкан?

— Не грипп же, — ответил он почти обиженно. — Я вот отделался сравнительно легко, а у Генриха перелом руки и снова сотрясение. Врачи говорят, что до Нового года оправится.

Не везет начальнику отряда вулканологов Генриху Ш. Четвертый раз укладывают его вулканы в постель. Впервые это было еще несколько лет назад, когда он приехал сюда студентом-практикантом: тяжелые переломы рук и ног, сотрясение мозга.

— Никаких вулканов больше, — сказала тогда мама. — Из дому ни шагу.

— Хватит тебе и обычной геологии, — сказал папа. — Без камнепадов и извержений.

А ему обычной геологии было мало. Он все-таки закончил второй факультет — геофизический и все-таки отправился к вулканам. Не всегда же они одолевать будут, когда-нибудь и его черед придет одержать верх.

— Пойдем, к Новому году успеем вернуться, — сказал Генрих. — Такой случай упустить — век не простишь себе.

И они пошли. По гладкому, точно отшлифованному старательной рукой скульптора конусу и летом взбираться нелегко. Они вгрызались в ледяную гору, чтобы продвинуться вверх на шаг, и каждый шаг грозил гибелью. Но в кратере их, возможно, ждали данные, бесценные для науки, и они снова вгрызались в лед и поднимались еще на шаг, еще на шаг... Генрих повредил руку. Опухоль быстро росла, боль адская. А они шли, они до-

брались до кратера, спустились в раскаленное жерло, собрали материал.

Казалось, что все кончится благополучно, но небо вдруг заволкло тяжелыми тучами, и штормовой ветер обрушил на трехкилометровую сопку шквал снега. Пурга оглушала, слепила, валила с ног. Хотелось лечь в снег и больше не вставать. Но они знали, что именно этого делать нельзя. Они шли даугад, пробивая лбами упругую стену из снега и ветра. Они потеряли счет времени. Только потом, в самый канун Нового года, когда у подножия сопки их разыскал наконец вертолет, они узнали, что пурга длилась около трех суток. Они были счастливы. Знаете, отчего? Оттого, что успели послать мамам и папам новогодние поздравительные телеграммы. Раз есть телеграмма, значит, все благополучно, никто не станет уговаривать бросить вулканологию. Правда, и тогда врачам пришлось чинить Генриху руку. Ну, да ведь на то и вулканы, чтобы ломать руки, а врачи — чтобы чинить.

*(Из газетного очерка «Шагающий в бурю», под рубрикой «Черты советского характера»).*

Да... Я вот, наверно, сидел в это время дома и ссорился с женой, она хотела куда-нибудь пойти на Новый год, а я — остаться дома, или наоборот. А он в это время пробивал лбом упругую стену из снега и ветра. Только что за привычка у него все себе ломать? Вулканы, понимаю. Не танцплощадка. Но ведь Генрих где угодно себе что-нибудь сломает! Например, приехал он не так давно домой отдохнуть, пришла к нему знакомая девушка, сняла с его стены винтовку и прострелила ему руку. В последний момент он успел подставить руку — и она выстрелила. Никогда ни с кем такого не бывало. Я лично уже за Генриха, когда он лезет в свой вулкан, не беспокоюсь. Я за него беспокоюсь как раз, когда он в этот свой вулкан не лезет.

Вот недавно тоже, возвращается он с научного заседания — хулиганы к девушке пристают, конечно, красивой. Генрих, конечно, ввязывается в это дело. Один из хулиганов бьет его по плечу. Генрих бросается на них и, применяя бокс и сам- **ДЕВЯТЫЙ ПОДВИГ ГЕНРИХА.** бо, укладывает всех троих, доставляет в отделение и только тут обнаруживает три ножевых в себе раны и чуть не умирает от потерянной крови. Девушка несомненно навещает его потом в больнице, и хулиганы наказаны. Я бы никогда этому не поверил, хотя и прочел об этом в местной газете под рубрикой «Так поступают советские люди», но столько очевидцев подтвердило мне это и сам Генрих выбрал из множества своих шрамов три и сказал, что именно так он их и получил, как опи-

сано. А уж если вспомнить детство, то таких историй хватило бы на целую книгу... Из всего множества подвигов я отобрал в памяти двенадцать характерных, и постепенно, по мере того как лечу к своему другу и останавливаюсь в пути, изложу их тут. Эту линию моего повествования я назову

## ДВЕНАДЦАТЬ ПОДВИГОВ ГЕНРИХА,

ибо, как и Геракл, совершивший свой первый подвиг в колыбели, задушив, совсем еще малюткой, двух страшных змей, так и мой Генрих начал моделировать свои подвиги в самом раннем возрасте, чему я был свидетелем.

И в пионерлагере Генка был, конечно, центральной фигурой. За его выдающимися спортивными и любовными успехами (только теперь я понимаю, что у него они мало отличались друг от друга по характеру) с замиранием, завистью и восхищением следил весь наш лагерь. На всех соревнованиях он занимал все первые места: по бегу, прыжкам и метанию гранаты. Он был капитаном нашей сборной по футболу, единственным и феноменальным ее вратарем. Однажды у нас возникли стихийные соревнования по поднятию лома. На что способны послевоенные дети десяти лет? Один поднял двадцать пять раз, другой — тридцать семь, и больше не поднял никто. Я подошел и поднял сто пятьдесят раз. Первенство мое было неоспоримо, мне просто надоело этот лом поднимать. Я ощущал наслаждение от струящихся по мне восхищенных взглядов. Девочка, которая мне нравилась, посмотрела на меня с выражением.

И тогда вперед подался Генка. «Я ПОДЫМУ ТЫЩУ ОДИН РАЗ», — сказал он. Все поняли, что Генка оскандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими, **ПЕРВЫЙ ПОДВИГ ГЕНРИХА.** как спички, руками нечего было думать даже о побитии моего рекорда, не то что о ТЫЩЕ ОДНОМ РАЗЕ. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На сто первом разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще

пятьдесят и один раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел. Все были свидетелями **ПОДВИГА**. Побив рекорд, под восторженный вой болельщиков, воодушевленный Генка довел рекорд до двухсот — после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь наверно равен рекордному весу Новака, он выпустил два больших слюнявых пузыря, но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения — это было бы, как говорят критики, «ненужным физиологизмом» — на него вылили не одно ведро воды, зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться понемногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность: ведь рекорд был давно уже и безнадежно побит, он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в четыре раза, девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем, некрасиво открыла рот и смотрела на героя, теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжал всю **ТЫЩУ ОДИН РАЗ** и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался.

Это было чудо — таким я его понимаю до сего дня. Для меня это первый из **ДВЕНАДЦАТИ ПОДВИГОВ ГЕНРИХА**, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на полтора метра, так разозлиться на человека, перешедшего двухметровый рубеж, что сказать сдуру: а я прыгну на двадцать! — и прыгнуть-таки. Это было невозможно, и это было чудо, первое чудо воли Генриха Ш., происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих вырослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе, уже почти абстрактно, так сказать, из любви к искусству. И начинает теперь мерещиться, что больше всех был он неуверен в себе и слаб, иначе, зачем же доказывать свою силу столь непрерывно и бесконечно?

Множество подвигов совершил Генрих в футболе — капитап дворовых, школьных, институтских, город-



ских — всех команд, в каких ему доводилось играть. Вратарь он действительно отчаянно хороший. Он неплохо прыгает, у него отличная реакция, но самое главное его качество — бесстрашие. Стоит только посмотреть, как легко он кладет свою голову под занесенную для удара бутсу, чтобы убедиться в этом. Можно подумать, что ему никогда по голове не попадало, так он о ней не заботится. Но ему попадало, и часто, и еще как. Несколько раз его увозили с поля в больницу, и он отлеживался с сотрясениями. Нормального человека такое приучает хотя бы к осторожности. Но и после самой серьезной травмы Генрих бросается под ноги с той же легкостью. Это, надо сказать, обескураживает самого грубого нападающего, и многие из футболистов, кому часто приходилось иметь дело с Генрихом, откровенно его боялись и, видя, как он опять бросается под ноги, просто отбегали поскорей в сторону — какой там мяч! — лишь бы не попасть ему по голове. Из множества футбольных подвигов Генриха минимум три можно выделить в ранг великих, но излагать все три нет никакой возможности, тем более я не очень-то в футболе смыслю. Знаю только, что в институте, прежде чем стать выдающимся вулканологом, Генрих всерьез подумывал о том, не сменить ли ему коня и не стать ли профессиональным футболистом. Ему сделали такое предложение, и он мог перейти в команду мастеров. Тут надо отдать должное родителям, папа встал стеной — и так Генрих не изменил вулканам.

К наиболее невероятным подвигам Генриха относится его прыжок с Ласточкиного гнезда в Крыму. Не знаю почему, но именно этот подвиг всегда волновал меня

**VI ПОДВИГ ГЕНРИХА.** сильнее всех прочих подвигов Генриха. Было ему лет пятнадцать, и это была его первая самостоятельная поездка, без родителей. В Крыму я в ту пору не бывал и очень долго потом представлял себе некий удивительный пейзаж: полосу гальки, голых людей, приставивших ладони к глазам, синий замок, нависший над морем, и на башне его стоит Генрих, взмахивая руками, и все это освещено каким-то странным, жарким и темным солнцем. На прямые мои вопросы, не вранье ли это, что он прыгнул с сорокаметровой высоты, Генрих всегда несколько отмалчивался: не от-

рищал, но и рассказывать не любил. Зато приятели, бывшие с ним в Крыму, рассказывают об этом охотно и с увлечением, и каждый предлагает свой вариант истории. По одному, конечно же, он прыгнул, посветив свой прыжок одной девочке. По другому, который я предпочитаю, дело заключалось в том, что у них вышли все деньги и, сидя на пляже, голодные, они наблюдали, как голые полковники крупно играли в карты; денег была целая куча, они были тут, рядышком, но они были чужие, что приводило ребят в тоску и уныние. И тогда Генрих, ничего никому не сказав и не посоветовавшись, вдруг встает, направляется к голым военным и говорит: «За тысячу рублей прыгну с Ласточкиного гнезда» (в старых деньгах, конечно). Военные опешили, заругались, заспорили, заиздевались, глядя на щуплую его фигурку, а один, наиболее весомый, вдруг сказал: «Ну что ж, прыгай». И Генрих прыгнул, хотя, надо сказать, никогда до того специально прыжками не занимался, прыгнул и не разбился, а это за всю историю, кажется, третий случай... Я всегда млею от этого рассказа, в который бы раз его не слышал, а разомлев, спрашиваю: «Ну, а деньги-то они заплатили?» — «Сволочи! — всегда говорит Женя Р. — Всего шестьсот рублей». — «Надо же, — говорю я, — хоть шестьсот». Называет рассказчик, надо отдать ему должное, всегда одну и ту же цифру.

Недавно я все-таки побывал в Крыму и проезжал на катере под Ласточкиным гнездом. Пейзаж этот разочаровал меня. По сравнению с той картинкой, которая постоянно существовала в моем представлении и была для меня паспортом Крыма, пейзаж этот ничего интересного не представлял. Я смотрел вверх и вспоминал Генриха. Если он сделал такое, думал я, то он действительно великий человек.

Но даже если он не прыгал, все равно Генрих, конечно, великий человек. Потому что любая история об этом человеке вызывает недоверие. Правдоподобных историй с ним просто никогда не происходило. Они его, по всей видимости, никогда не привлекали. И даже та история, про которую 99 из 100 скажут, что это ложь, неоднократно на моих глазах оказывалась правдой. Так что даже если о Генрихе говорят неправду, то это нельзя назвать ложью — это легенда. Правда или не правда, что Генрих прыгал с Ласточкина гнезда, никто, да и

сам Генрих, сказать не может. Но то, что это одна из самых прочных историй о нем на протяжении уже пятнадцати лет, — факт. Это, по крайней мере, настоящая легенда. А если о человеке существует легенда, он что-то стоит, не правда ли?

Я бы не успел все это вспомнить и не стал бы задумываться над вещами, столь далекими, если бы не летел так долго. Оказывается, и жизнь не так уж велика и совсем мало успело произойти в ней событий, если ты долго в дороге. Вторые сутки — и ты уже все вспомнил, и воспоминания начинают прокручиваться по второму разу, и ничего нового не выплывает. Потому что, хоть и чудеса техники, и мы летим всего двенадцать часов эти десять тысяч километров, но и двенадцать часов — время, и к тому же, где бы ни приземлились, мы сидим тоже никак не меньше двенадцати часов из-за нелетной погоды. Эти часы в перемножении образовали уже семьдесят два часа, а за это время можно не только все на свете вспомнить, но и забыть все на свете и задавать себе в конце полета вопрос: зачем же это я лечу, а главное — куда? Занесло же меня, господи!

А если тебе так жилось в последнее время, что в самолете тебе не спится, и уже не читается, и в окно не смотрится? Вот стюардессы... Они менялись трижды **ВРЕМЯ В ПОЛЕТЕ.** во время нашего полета. Двенадцать девушек проходят перед вами за эти десять тысяч километров. Одна другой лучше. Ну ладно, бог с ними. Женатый все-таки человек. Но это очень неглупо придумали, что в воздухе есть хоть на что посмотреть. Для меня это был целый театр. Было это красиво.

Они появлялись из-за шторки, которую отдергивали и задергивали столь старательно, что поневоле возникло представление: какой же странной и, должно быть, прелестной жизнью они там, у себя за шторкой, живут. Эта не то шторка, не то занавеска не достигала пола и, хотя я не видел, что за ней делали девушки — я видел их ноги: они сновали там, за шторкой, стройные, на высоких каблуках, обрезанные нижним краем занавески по колено. Их закуток за шторкой был освещен много ярче, чем салон, из-под шторки бил яркий свет, и у меня возникало ощущение, что я сижу в кукольном

театре, где на большой сцене, в большой плоскости занавеса, вдруг освещается небольшой прямоугольник, и там оживают куклы. Ноги, то одни, то другие, сновали по этой маленькой сцене и явно разыгрывали какую-то пантомиму, пластично, в хорошем ритме.

И когда вдруг, отдернув занавеску, появлялась одна из обладательниц этих ног вся целиком — в этом было некое чудо. И я был благодарен за него и этим девушкам, и Аэрофлоту, и людям, создавшим интерьер в этом самолетном чреве и почему-то сделавшим занавеску в служебном салоне не до полу, а несколько короче.

...Она появлялась вдруг вся целиком, со своими конфетками и лимонадом, и, хотя она и представления не имела о том, в каком спектакле участвует и что за пьесу я для нее выдумывал, до чего же точно она играла! Как ни странно, тут почти не было чувственного интереса, и, может, именно потому этот маленький театр женских ног был столь увлекательным для меня. В конце концов это оказалась грустная пьеса. Развязка была печальна.

Подлетая к Омску, первой напей остановке, когда нам были уже розданы предпосадочные леденцы и мы должны были пристегнуться и не курить, они вдруг, все три, забегали по проходу, возвращались со своими пальтишками, лица их озаботились, и на лицах появилось отсутствие. Они приводили себя в порядок за своей занавеской и прятали свои красивые туфли в свои большие сумки. Они уходили от нас, их уже не было с нами, мы ничего для них, оказывается, не значили. Мы были неисчислимы, как песок, и однообразны, как пустыня. А у них была СВОЯ жизнь. Я ощущал какую-то тревогу, но еще не знал ВСЕГО. Я еще утешал себя спасительными мыслями о том, что они хотят предстать в лучшем виде перед своими омскими знакомыми летчиками. Ведь потом они полетят дальше с нами. Но замысел пьески был коварен.

Дело в том, что они сменялись в Омске, они уходили из моей жизни навсегда. В том же театре, на отрезке Омск — Иркутск, работала новая труппа, новые ноги и новые их обладательницы. Они были так же хороши — но что мне было до них! Я смотрел на них уныло, исполненный юношеского скептицизма: и вы тоже, мол, сойдете в Иркутске... Исполнители разные — роли те же. Но пьеса имела новый поворот. Я обнаружил, уже

в полете, как на маленькую, облюбованную мной сцену, на которой новые прима-ноги разыгрывали свои новые диалоги, вдруг ворвались мужские ботинки, длинные и черные, как баржи среди легких лодочек. Я думал еще, второй пилот вышел покурить и поболтать с девушками и лишь слегка позавидовал ему. Но тайное становится явным, что-то путалось в подтексте пьесы. Это оказался стюард. Он мне, конечно, сразу не понравился, этот бездельник. Слава богу, он составил вскоре кому-то компанию в карты и покинул сцену. Видно, девушки не позволяли ему делать женскую работу, а вся работа его была женской. Но, как в современной постановке, когда действие вдруг переносится со сцены прямо в зал, так к нему в салоне подходили по очереди и подсаживались девушки, заглядывали в карты через плечо, смеялись, шептали ему что-то в ухо, приносили ему воду. И это растревляло меня.

И когда девушки, как перед тем их предшественницы, вдруг стали собираться, когда они снова уходили от меня раньше, чем самолет коснулся земли, и я уже знал, что они пойдут сейчас куда-то и к кому-то, кто им дороже, чем я, и что никогда они не узнают, чем они были для меня и чем бы я мог быть для них, не подумают, что пассажиры тоже люди, среди которых есть те, как это ни фантастично, кого можно любить... Я смотрел на них уже с горьким разочарованием, и следующих девушек, сменивших их, уже и не заметил и не запомнил. Я бы внес предложение Аэрофлоту, если бы не опасался показаться безумцем, чтобы так же, как зритель не видит, как покидают здание театра исполнители, и уносит в своей душе ощущение, что актеры — особые люди, живущие для других, для него, зрителя, так же и стюардессы покидали корабль тайно и тихо — исчезали, а не уходили.

А раз уж речь, имеет это отношение к делу или не имеет, коснулась любви, то опять вспоминается детство. Теперь мне кажется, что в пионерлагере в Терриоках нас больше всего интересовали вопросы любви. Во всяком случае, нашу, старшую, пионергруппу именно это волновало.

92 Вот мы спускаемся по песчаным тропкам между сен, которые почему-то зовут корабельными, к Финско-

му заливу, который зовут Маркизовой лужей, и что лужей, понятно, но почему Маркизовой? Мы идем в парах и поем «Ах, поцелуй же ты меня, Перепетуйя!». Больше всего мне нравятся строки «Я кровать ОБ «ЭТОМ», твою воблой обвешу, чтобы было приятнее спать», но мы не успеваем допеть до них, потому что разбегаемся с гиком по пляжу. У нас соревнования по плаванию. Для этого наш физрук, лысоватый геркулес из сборной города по водному поло, выстраивает нас в шеренгу на второй мели, сам же с нашей медсестрой, матерью одного мальчика из нашей группы, идет к третьей мели. Мы следим, как они, такие большие и старые, бегут с повизгиваниями и похлопываниями к своей мели. За отношениями физрука и медсестры мы следим с интересом вот уже вторую смену — мы их осуждаем. Физрук кричит нам со своей мели: «По моему свистку вы все стартуете и плывете к нам». Он достает из плавков свисток и начинает его продувать. Некоторые понимают это как команду. Я прыгаю первым. Наш строй ломается. «Да не сейчас! — сердито кричит физрук. — Сейчас я еще не свищу. Это просто так. Становитесь по местам!» В этих соревнованиях первое место занял, конечно, Генка. Я занял последнее и не жалею об этом. Я зазевался на старте и потому увидел, как целовались физрук с медсестрой. Они были мокрые и совсем почти голые. Наши подозрения подтвердились. Меня это так поразило, что, когда я бросился в воду догонять всех, это было уже невозможно. «На дистанции 25 метров, — торжественно объявил физрук, — победил председатель нашего физкультурного совета Генрих Ш.!»

Вот мы сидим на дамбе, избранный круг, нас было пятеро, и разговариваем о мамах. Чья красивая, а чья нет. Мы говорим о маме, которая медсестрой, — она некрасивая, вобла какая-то, как ей сына своего не стыдно. У того мама толстая, у этого — старая и одета плохо. О своих мамах не говорим. Генка сидит и в разговоре почему-то не участвует — смотрит вдаль. Один из нас не выдерживает: «А вот у меня мама...» — говорит он. «У тебя мама с усами», — говорит ему другой, гогочка, маменькин сын, мой враг, и мне становится обидно: почему мой враг так задается? К нему на машине приезжают, ну и что? Мама у него, пожалуй, красивая, но так себе, не сравнить с моей...

«Ха-ха,— говорит мне враг,— у твоей ноги толстые!» Слезы закипают, и кулаки белеют... Я отворачиваюсь и смотрю вдаль за горизонт, чтобы враг не увидел моих глаз, пока не просохнут. «Вот спихну тебя сейчас с дамбы! — думаю я. — Толстые!..» Генка вдруг, так же молча, вскакивает и убегает. Всегда-то он так вдруг убегает. У него мама, тут уж никто не спорит, действительно красивая, и главное, всегда он может ее видеть, потому что она — наша воспитательница.

Мы сидим на дамбе, болтаем ногами и уже молчим. «Темную тебе устрою», — думаю я о своем враге. «За мной! Скорей!» — вдруг слышим мы. Малыш из средней группы — запыхался, и глаза растопырены — сейчас его шурануть надо, чтобы не лез к старшим. Но он кричит: «Идите скорей сюда! Тут тетки и дядьки голые!» Мы вскакиваем и мчимся за ним по дамбе. В конце ее, где нависают над берегом кусты, наш проводник прижимает палец к губам и начинает ползти. Мы ползем за ним. Сердце бьется у меня в горле, и перед глазами темные пятна, и я ничего не понимаю. Раздвигаем кусты и видим... Действительно, голые. День-то жаркий. Они лежат тесно, рядком, кто вверх, кто вниз лицом — четверо, две тетки, два дядьки. Растомленные, неподвижные, ленивые. Закинули ноги друг на друга и лежат. Мне вдруг становится жарко — так они лежат, такой расплавленностью, раскаленностью дышит от них. А мы не дышим в кустах. Уже слышном долго не дышим. Воздух вырвется из меня сейчас со свистом. Наконец один дядька оживает и переворачивается. Хлопает тетку по спине, звонко. «Пошел к черту!» — лениво говорит она, не пошевелившись. Снова все замирают. Чья-то рука выдергивает меня из кустов. «Атас!» — слышу я запоздало. Физрук дает мне леца, и я мчусь в лагерь без оглядки. За спиной у меня ленивая ругань.

Мы не говорим о случившемся до вечера. И лишь после отбоя, оставшись в нашей маленькой палате, в своем тесном кругу, мы заводим разговор об этом. Генка тут же засыпает. Он спит в красивой позе бегуна. Рвет во сне финишную ленту. Один из нас, самый старший и самый чувствительный и слезливый, даже вслух сказал: «Как он красиво спит!» Мы говорим об этом и расходимся необычайно. Каждый из нас стремится превзойти другого. Мы начинаем обсуждать на-

ших девочек. Мы употребляем все неприличные слова, какие знаем. Больше всех, кажется, стараюсь я: у меня старший брат, и я знаю больше других. Вдруг открывается дверь — и на пороге Генкина мама. Оказывается, она давно уже слушает под дверями. До сих пор я краснею при воспоминании. Она говорит, как это чудовищно, и, кажется, плачет, она говорит: это так страшно, что она не сможет даже сказать нашим родителям, она не скажет, но мы должны поклясться, что никогда... Мы клянемся. Она уходит. Мы еще долго лежим, бессонные, молчаливые, уничтоженные. «Какое счастье! — говорит вдруг самый чувствительный из нас. — Какое счастье, что Генка спал и молчал поэтому!» Всегда-то этот самый чувствительный скажет то, о чем все подумали и никто не сказал бы вслух. «Какое счастье...» — думаю я, засыпая.

Когда я вспоминаю Генку, Генриха, Генриха Семеновича, меня всегда поражает эта его способность уйти, вдруг скрыться, исчезнуть, уснуть и не участвовать, сознательно или бессознательно, в том и там, где он может себя уронить, сам ли, с помощью ли других — проиграть. Он замолкает, если ему вдруг нечего сказать, когда все еще говорят, хотя им тоже нечего, уходит, когда все еще сидят, хотя давно уже хотят уйти. Друзья дисквалифицировали его в преферансе, потому что его всегда внезапно вызовут по делу, когда он начинает проигрывать или партия затягивается и нарушает его режим. Девушки его любят, потому что при серьезных объяснениях и выяснениях он вдруг встает и молча уходит и не приходит, пока она сама не придет. Друзья за него держатся, потому что он вдруг замолкает в самой накаленной точке спора, где еще не известно кто — кого, где самый накал борьбы, замолкает и смотрит вдаль, отвлеченный, замерший, как бы общающийся с чем-то высшим. Есть тут некий фокус, которым я так и не овладел, хотя, видит бог, грешен — хотел бы им так же пользоваться. Я-то не остановлюсь, пока не проиграю все — в карты, с любимой, с другом.

Вполне понятно, что в пионерлагере Генку любили самые красивые девочки. У него уже второе лето был роман с Галей Ш., очень милой, рано развившейся, уже девушкой, когда к нам приехала Рена К. — моя первая любовь. Я смотрел на нее издали восхищенными глазами, крался по пятам — она же меня не замечала. Так



я любил ее, пламенно, издали и вдруг увидел — эта сценка до сих пор перед моими глазами, — как в стороне от дорожки, между соснами играют в пинг-понг без сетки Генка с Реной К. Цок! — стучается мячик о Генкину ракетку, цок! — о ракетку Рены. Цок да цок, цок да цок... И такая радость и счастье на ее лице, цок-цок, при каждом ударе, и так ловко, легко и точно Генка, цок-цок, при каждом ударе, и так они переговариваются, цок-цок, слов не слышу, сердце во мне опускается — цок! — и не поднимается. И Галя Ш. в стороне, совершенно, цок-цок, так уж безучастная. Смотри — цок — во все глаза — цок — больше ни на что — цок — не надейся...

Да и как не любить такого?

### СХВАТКА У ЛОГОВА ДЬЯВОЛА

#### Из журнального очерка

Человек стоял, опираясь на костыль, в заброшенном на плечи широкополом плаще, чем-то похожий на большую серую птицу, опустившую сломанное в битве крыло. Нет, не было безнадежности в этой позе. Скорее — терпеливое и мудрое ожидание. Придет-де срок, и я еще взмахну крылом и поднимусь в небо.

Человек протянул нам левую свободную руку и назвал себя: — Генрих.

Так мы впервые встретились с вулканологом Генрихом Ш. Потом мы много беседовали с ним — и у вечернего догорающего костра, и ночью в палатке, по горло зашнуровавшись в спальные мешки, и утром, умываясь ледяной водой ручья. Но о чем бы ни шел разговор, Генрих все время поглядывал в сторону дымящейся вершины вулкана. Мы знали: там, на вершине, проходил передний край фронта науки, там были его друзья-разведчики. Ему очень хотелось туда. Ведь он тоже принадлежал переднему краю. Самому переднему.

Вот хотя бы только одна страничка его жизни — жизни ученого и исследователя, жизни смелого человека, комсомольца шестидесятых годов...

Чем ближе к вершине, тем гуще камнепад. Перебегали по одному. Другой ждал, пока его товарищ не найдет какое-то безопасное место под укрытием скалы. Лавовый поток был всего в двух метрах от них. Сверху его покрывала серая, дымящаяся, остывающая корка. И вдруг произошло неожиданное: огненная глыба упала на эту непрочную корку. Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока. На вулканологов поползла лава. Надо было уходить. Куда? Толя оглянулся, и в тот же момент сильный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел, — встревоженное лицо Генриха Ш. и летящий на него огненно-красный камень...

Но и тут он остался жив, мой удивительный друг. Он пришел в себя на восьмые сутки — и остался жив.

Генрих умеет ездить на мотоцикле, охотиться, водить автомобиль... Не стоит перечислять. Он умеет все то, чего не умею я. Вот прилечу и спрошу его: «Наверное, тебе очень обидно, что ты не умеешь летать на самолете?» — «Почему же не умею, — скажет он, — умею», и покажет мне фотографию, где он за штурвалом самолета. Я кивну, но все равно не поверю. А через несколько дней представится случай убедиться в том, что я напрасно ему не поверил, потому что мы полетим в облет над вулканами на «Анпушке» и я действительно увижу его за штурвалом... И я пойму, как это было глупо с моей стороны предположить, что Генрих не умеет водить самолет — это невозможно, Генрих бы просто этого не вынес. Это будет потом, когда я уже прилечу к нему — пока-то я все еще не прилетел, но ведь, когда садишься писать, все, о чем пишешь, уже в прошлом: и мой прилет к нему и мой отлет от него домой, — так что невольно смещаются времена и я забегаю вперед.

Мы будем лететь на высоте 4000 метров, и поскольку зима, декабрь, а в брюхе у самолета открытый люк для фотосъемки, и летать нам долго, кружить над каждым вулканом — то мы замерзнем. Я впервые увижу вулканы — сразу много, они все белые, чистенькие, ровные, поскольку зима и потому что они все не извергаются каждую секунду, а ведут себя очень спокойно. Будет сначала любопытно, особенно когда мы будем кружить над кратером знаменитого вулкана так низко, что я буду заглядывать в его дымящееся нутро — а потом все покажется уже однообразным и утомительным не профессионалу, будет непонятно, зачем это они часами кружат над одним и тем же местом и зачем Генрих так волнуется и горячится — было бы из-за чего... И наконец, я увижу маленькую и грязную гору, похожую на прыщ в этой белизне, и это будет вулкан действующий, мы будем летать и летать вокруг в ожидании, когда он выстрелит, а он все не будет стрелять.

С нами будет лететь один очень **СТИХИ И ПРОЗА.** хороший поэт, наш с Генрихом друг, тоже ленинградец. С утра он будет болен после вчерашнего и еле приползет на аэродром. В самолете его будет маять, и он

сразу же уснет и проспит все вулканы, которые я увижу. Но когда этот маленький грязный вулкан наконец соберется выстрелить, поэт вдруг очнется в своем углу, поведет очумелыми очами, спросит: «Где я?» — с привычным удивлением, быстро сообразит, что с ним случилось, выпрыгнет из своего угла, выглянет в окошко и как раз увидит, как этот вулканчик сделал наконец свое дело — ничего особенного, просто поднимется над ним небольшой черный столб. А Генрих скажет: «Смотрите, какой сильный взрыв!» Поэт не станет больше смотреть в окно, а согнется над своей книжечкой и через минуту прочтет следующий стих:

### ПРОЛЕТАЯ В САМОЛЕТИКЕ НАД ВУЛКАНАМИ

Подо мною,  
Чуть пониже,  
дышит тепленький вулкан...  
Знал о нем —  
посредством книжек:  
мол, конечно, великан,  
дует,  
плёбет,  
посыпает,  
лава льется на поля...  
...В общем, плохо поступает  
с нами  
бабушка Земля...  
...А вулкан-то, он потешный,  
кудри вьются на башке...  
И разинут рот крошечный  
в неосознанной тоске.  
Вот он выкинул немного  
камня, дыма и огня...  
так сказать — спасибо богу,  
поприветствовал меня!<sup>1</sup>

Прочтет он этот славный стих и, больше ни разу не взглянув в окно, снова свернется в своем углу и проспит до самой посадки и высадится, молодой и свежий, и станет думать о вечере. Я же так и проторчу у окна, но больше ничего такого интересного не увижу. Замерзну только окончательно. И позавидую другу-поэту, как это у него все четко и точно получается: и выспался, и проснулся ровно, когда было нужно, и все увидел самое интересное, и стих славный написал, и снова уснул. А я-то, что я об этом напишу? Неизвестно. Как я

мерз? Как было скучно? Да, прозаику куда труднее... В общем, вулканы разочаруют меня.

Вечер, правда, будет приятный. Кривой мужик встретит нас на аэродроме и доставит на санях на базу Академии наук. Этот теплый деревянный двухэтажный старый дом, скрипучий и тихий, с библиотекой, с бильярдом, с ковровыми дорожками на лестницах подействует на мое банальное воображение — я выгляну в окно и увижу действительно красивую картинку: как из-за огромного вулкана, высящегося над поселком, начнет всходить луна и подсвечивать дым, который валит из его жерла и днем и ночью. Я почувствую себя далеко от дома, мне станет тепло, грустно и приятно и захочется написать некий рассказ про такой вот тихий дом, где работают всё молчаливые и чистые люди, и одна девушка, очень мне симпатичная, безмолвно любит одного парня, несколько напоминающего меня, и весь этот рассказ будет чем-то пропитан и пронизан, каким-то таким неопределенно-лирическим чувством, в нем будет особый воздух... В общем, взволнуюсь необычайно по поводу рассказа, который в здравом уме никогда писать не буду и не напишу. И видимо, у всех будет что-то такое на уме. Во всяком случае, поэт тоже будет нервничать и не успокоится, пока мы все не пойдем в ресторан «Сопка». Там, кроме нас, будет только одна подвыпившая мужская компания, из которой будет выделяться один огромный человек с добродушнейшим детским лицом и один маленький вредный горбун с гармошкой. Они будут выпивать, как и мы, спирт, и горбун после каждой стопки будет что-нибудь играть, и поскольку он умеет только «Подмосковные вечера» и «Жертвою пали», то именно их он и будет играть вперемежку. И великан будет смотреть на горбуна с восхищением.

И все начинает покачиваться, в такт.

«Надо было тебе летом сюда приехать, — говорит Генрих, — что — зима...» Мы трясем друг другу руки. «Я еще приеду, обязательно приеду, — говорю я. — Летом...» Всегда я обещаю приехать еще раз — и не приезжаю. И начинает мне теперь казаться, как приезжаю куда-нибудь, что больше мне тут не побывать. И грустно становится, и расставание — прежде встречи...

И это будет хорошо, но только, когда это еще будет! А тут торчи в аэропорту, и выпить не с кем.

Он был первая и последняя моя зависть, самый **МОЯ ЗАВИСТЬ.** непохожий на меня человек.

...У него был жук-носорог. У меня жука-носорога не было. У него был самый большой жук с самым большим рогом, жук-чемпион, жук чемпиона. Ему было мало, что у него жук — так он еще всем говорил, что ему привез его из Афганистана папа-летчик. Хотя и у нас, в Ташкенте, таких жуков предостаточно. Только у меня его не было. Мне бы хоть самочку безрогую, как у идиотика Ромы. Но у меня и самочки безрогой тоже не было. Ему он был и не нужен, жук-носорог, он ничего в нем не смыслил. Просто раз у всех — жук, то и у него жук, причем самый крупный. «Он у меня любого жука забодает, одного как поддел — тот кверху тормашками и вон туда улетел», — показывал он на дальний арык, за которым кончалась территория нашего садика. «Врешь...» — говорил я и тут же ему верил. Этот бесчувственный человек не понимал, каким чудом он владел, он просто — владел, милостиво разрешая мне кормить его моими крошками. «Он ест только белые, — говорил он при этом или даже: — Он ест только из моих рук», — и забирал у меня крошки. Я мечтал украсть у него жука, но не знал, как это делается. Я украл наконец, но не жука, а иголки-буры у нашей хозяйки, зубной врачихи. Они напоминали холодное оружие лилипутов, палицы или булавы, какие я видел на картинке, и очень нравились мне. Хозяйка, затворив ставни от жары, ходила голая по пустому сумрачному дому. Она лениво носила свое белевшее расплавленное тело из комнаты в комнату и нехотя била мух или проходила к буфету и, голая, ела варенье прямо из банки. Когда она пошла есть варенье, я схватил из белой ванночки горсть иголок и, зажав их в кулаке с неоправданной силой, с ухающим сердцем выскочил на ослепительный свет.

Я обменял иголки на жука. Он был МОЙ, коричневый, полированный, с необыкновенным рогом. Я утаил одну иголку и положил ее в коробку. «Это твоя палица», — сказал я ему. Я был настолько счастлив, что уже как бы страдал от неспособности чувств ко все более сильному выражению. Вечером кража обнаружилась, и был скандал. Утром я выпустил жука, не знаю, случайно или нарочно. А у Генки был уже новый жук, даже крупнее прежнего.

Я, может, и не помню этого. А помню большую цементную чашку недействующего фонтана и выбитую обширную площадку вокруг — все это очень сухое и пропитанное солнцем, перенасыщенное. А мы сидим на краю фонтана, свесив ноги, и Генка приоткрывает коробку с жуком. И то чувство томящего восхищения, какого с такой силой мне уже не переживать после.

...Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней уцелел лишь один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?» — «Летает!» — и мы все машем руками как крыльями. «Бегемот летает?» — «Летает!» — увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый», — говорит воспитательница. И обидный смех до сих пор в моих ушах... Воспитательница объясняет следующую игру. Она спрячет предмет на видное место, а мы будем его искать. А кто найдет, подойдет к воспитательнице и тихо скажет ей на ушко, где он увидел этот предмет. И вот все разбредаются по площадке в поисках. Как мне надо обнаружить этот предмет первым! Выбраться из моего падения и позора. Но первый, как всегда, Генка. Он подходит важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они далеко от меня, но я слышу, будто мне громко шепчут в ухо: «Молодец, молодец». Я даже забываю искать и вспоминаю об этом, когда еще, сразу двое, подбегают к воспитательнице и шепчут. Я бросаюсь искать. Я обшариваю каждый сантиметр земли. Хотя бы одним из первых, хотя бы в первой половине! А они все быстрее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот нас трое, самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в скучном и безразличном отчаянии. Ребята, уже нашедшие, сучились вокруг воспитательницы и нетерпеливо переминаются — надо начинать следующую игру, а мы все возимся. Предмета же нет как нет. Я не мог его не увидеть, в сотый раз я проверяю себя, разглядывая до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не иначе. Все, например, видят предмет, а я на его месте — голую землю. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть навсегда. Я поднимаю голову от земли — и вдруг вижу. Открыто, у всех на виду, на сломаном волейбольном столбе, лежит этот предмет. Надо только поднять голову. Восторг ослепляет меня. «Вот он!!» — кричу я и показываю пальцем.

Два оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, смотрят на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты, — презрительно говорит воспитательница, — ведь надо на ушко! Ты только о себе подумал, а о них, о Роме и Кире, не подумал, испортил им игру». И если я вынес и это и выжил, то, очевидно, умру естественной смертью и в глубокой старости.

...У нас слишком длинный мертвый час. Это из-за азиатской жары. Хотя мы, по правде, ее не чувствуем. Но ведь надо же дать отдохнуть и воспитателям, на такой-то жаре. Нам-то что. Генка, например, дает подносить спички к своим пяткам — и то ничего, не больно — такие пятки, как подметки, только горелым пахнет, а ему хоть бы что. И спички воспитательница отобрала. Слишком длинный час и слишком мертвый — часа три в нем. Мы лежим под простынями, матрацы наши на полу, и воспитательница, как назло, не уходит, сидит — читает, за шепот — без компота. От тишины звенит в ушах, от скуки сводит внутри. Генка говорит: «Марь-степанна, а Марьстепанна!» — «Ну чего тебе?» — «Можно выйти?» — «Выходи», — недовольно говорит Марьстепанна. Всегда-то он первый догадается! — прямо завидно. Лежи тут, а он будет по двору гулять! Злость берет. Все-то ему можно — меня бы еще, фиг, выпустила. А Генка встает, важный, и, чтобы выйти, ему надо через меня перешагнуть. А он не перешагивает, а наступает своей замечательной пяткой на мой голый живот, как на землю, и идет себе дальше. Больно мне не было ни капельки, но от скуки я все равно заорал. «Что такое?» — взвилась Марьстепанна. «Он мне на пузо наступил». — «Не на пузо, а на живот». — «Он мне и на живот тоже наступил». — «Так, — говорит Марьстепанна. — Вернись!» — кричит она Генке. Генка возвращается, презирая меня взором. «Ложись», — говорит она ему. Он ложится. «А ты встань», — говорит она мне. Я встаю. Жду, не понимаю. «Поступи с ним так же, как он с тобой». Я не понимаю. «Ну, наступи на него и перешагни!» — сердится Марьстепанна. Я наконец понимаю и исполняю все это с наслаждением. «Ну вот, теперь вы квиты», — говорит Марьстепанна и садится в свой угол читать. И мертвый этот час проскочил, как живой, в потайных пняках и щипках.

102 Так я впервые узнал, что такое соломонов суд. Будто главное тоже наступить на живот и перешагнуть ле-

жащего, будто моему животу легче? И такое перешагивание еще очень наивно и откровенно, а вот — мысленное, по внутреннему счету?.. С этим ли связано, что друзей остается все меньше?

Мы сидим и поем. Это мне очень нравится. Все поют — и я пою. Так я наконец чувствую себя в коллективе — это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». «НАВЕРХВЫ, товарищи...» Это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом — мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжусь спросить что угодно: и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давно знаком, могу даже сказать в магазине: «Нарежьте мне сыру не от корки, пожалуйста, а от серединки...» Я теперь могу спросить что угодно.

Да, мы поем. И от первого же слова «НАВЕРХВЫ» — у меня начинаются спазмы в горле. До чего красиво мы поем! Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот, а когда мы доходим до «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»...» — у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марьстепанна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Ее слова не могут относиться ко мне — я так прекрасно пою, я сильнее всех чувствую эту песню, я озираюсь возмущенно по сторонам: кто там орет и портит песню? Но слова ее относятся ко мне: «Да, да, нечего головой крутить, это я тебе говорю».

Так я впервые ощутил несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И когда потом, в старших классах, мы заучивали, что мысль и слово — одно, что мыслит человек словами и что чем правильнее мысль, тем точнее она выражена, — я заучивал урок со всеми, но мне было не вполне понятно и даже неприятно: я же думаю гораздо лучше, чем могу сказать об этом! Так и до сих пор для меня самое большое мучение, что еще ни разу, ни единого, не выразил я что-либо точно, на том пределе, который ощущал, и где-то глубоко у подножья мысли барахтаются мои слова... Мне слишком хорошо помнится, как мы пели хором, шестилетние, и как это было



здорово, хотя, может, я все и сейчас додумал. Но отчего же только одна и никакая другая комната стоит сейчас перед моими глазами — темная, прохладная, и мы на лавках, в сумраке, по четырем ее стенам, а в середине что-то большое в белом халате машет руками, и лица не разглядеть. И никогда мне не удавалось спеть «Раскинулось море широко», которое мы обычно пели после «Варяга», и самую мою любимую «Когда я на почте», которая была третьей. После «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего чувства: как прекрасно я мог бы петь — и не пел. Тут бы в самый раз сказать, что рядом со мной опять треклятый Генка пел прекрасно и был запевалой, но тут был бы уже пережим и неправда: у него не было ни голоса, ни слуха, но он не страдал от этого, потому что в нем не было и чувства песни — он просто открывал со всеми рот и не издавал ни звука, и воспитательница говорила мне: «Вот у Гены тоже нет больших способностей, но поет он с каждым разом все лучше — я его теперь даже не слышу». Хоть петь Гена не умел...

Впрочем, теперь мне кажется, что я должен быть благодарен природе за печальную в детстве способность не задавать вопросов и за эту несчастную неспособность выразиться в пении ли, в игре... И я никому не завидую.

Вот и пишу теперь потихоньку. Пишу про наше военное детство. И как про него еще написать можно — не подозреваю. Потому что и так и еще так — мне уже нельзя про него писать. Например, что оно страшное и полно тяжелых переживаний... Потому что, как ни крути, о нем все равно получается радостней, чем об обычном и даже занимательном ожидании самолета в Хабаровском, к примеру, аэропорту. Потому что между военным детством и тем, как я сижу в аэропорту, писатель, летящий на ТУ-114 в страну вулканов по командировке толстого журнала, — лежит двадцать лет. И мое пребывание в этом аэропорту в тысячу раз грустнее моего военного детства.

Конечно, такая уж вещь очерк о положительном герое — само собой получается стиль выпрепный и нелесный, красивый. Но ведь все правда одновременно. В футбол Генрих играет здорово и в кратер действующий

щего вулкана спускался неоднократно, мы его зовем в шутку вулканавт-один, и в пургу он попадал, и руки-ноги ломал, попадал в камнепады и лавины. Так что все правда, что в газетах пишут, **X и XI ПОДВИГИ ГЕНРИХА**<sup>1</sup>. Только стиль — неправда. А может, даже в стиле доля правды есть, именно в этом, в неестественном, высокопарном? Вот как пишет сам Генрих о спуске в кратер, соответственно умнее, точнее и скромнее. Скромность ведь — тоже стиль.

### РЕПОРТАЖ ИЗ КРАТЕРА ВУЛКАНА, автор Генрих Ш.

Не так-то просто выспаться у самого кратера вулкана, который то и дело дает о себе знать. В час ночи наше безмятежное настроение улетучилось: под палаткой открылась трещина, из которой шел горячий пар — плюс 94 градуса.

Температура площадки возросла до 56 градусов. В довершение ко всему поднялся сильный ветер и повалил снег. Температура воздуха за палаткой упала до минус 12. Горячий пар, конденсируясь на холодных стенках палатки, падал на нас ручейками тепловатой воды.

— Если погода не испортится, то завтра, — говорю я перед сном Анатолию. Он молча кивает. Он знает, о чем я думаю.

Утром мы просыпаемся под легкий шум. Анатолий вылезает из палатки, осматривает кратер и кратко сообщает обстановку: — Дымит на всю катушку.

И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск.

Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку — горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает пяти метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный: термометр, рассчитанный на температуру до 350 градусов, лопается почти мгновенно. Беру 500-градусный термометр, но его постигает та же участь. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по

---

<sup>1</sup> Каждый спуск в кратер действующего вулкана можно назвать подвигом. Генрих совершал этот подвиг много раз. Два из них я возвожу в ранг ВЕЛИКИХ и причисляю к ДВЕНАДЦАТИ: первый в его жизни спуск и первый в истории зимний спуск.

интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650—700 градусов.

Часы показывают четыре. Значит, я здесь уже около двух с половиной часов — надо выходить; к тому же противогаз начинает пропускать газ, по-видимому, пора менять фильтр. Нахожу оставленный страхового ковец, обвязываюсь и машу рукой — подъем.

Газета трехлетней давности... Что делал я три года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй, что я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку и, какую не находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя — такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. И потом тоже не утруждал себя писанием лишних, обеспечивающих меня бумажек, верил на слово. И теперь у меня не хватало: трех одеял, двух спальных мешков и одного матраца; одного радио-приемника, которого я в глаза не видел, двух мисок и трех ложек; был фантастический перерасход рукавиц, а главное, не хватало насоса-лягушки, который я отправил на склад как недействующий, а накладной не выписал — не иголка же, насос! — и теперь его не находили на складе. А также не хватало 50 метров обсадных труб, которые, как это явствовало из моего акта приема, я в свое время принял, в чем и расписался. Все это составляло фантастическую сумму денег, которой у меня, конечно, не было. Насос все-таки нашли, трубы как-то списали, остальное из зарплаты высчитали... Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале. Какое может быть сравнение!

Я тоже было вступился за женщину на улице. Тоже было три хулигана. Поднакидали они мне изрядно. Тут и милиция подроспела, а хулиганы убежали. И женщина сказала, что это я сам пристал ни с того ни с сего к совершенно посторонним людям. Женщина направилась к хулиганам, поджидавшим за углом, а меня забрали в милицию, как учинившего драку на улице.

И буран был в моей жизни. Только меня не замечало и меня не искали с вертолетом. А был я в это время на Севере. И поставили меня на узкоколейке слесарем-смазчиком. И ходил я с крючком, проверял буксы и стучал по колесу молоточком. И думал, что никогда бы

в жизни не мог представить себе, что буду этим заниматься. И все вспоминал, как ехал летом с мамой на юг, и на каждой станции появлялся этот таинственный чумазый человек, поднимал крючком крышки и стучал по колесу молоточком, и я уезжал, а он оставался, с крючком и молоточком, потому что вряд ли он ехал вместе с нашим поездом. А на следующей станции — точно такой же. А может, он и едет вместе с нами и слезает на остановках?.. Я иду, проверяю, мороз чуть не за сорок, и метет. Поднимаю крышку и молюсь каждый раз, чтобы все в порядке было, чтобы не пришлось сейчас менять подшипник, или, упаси боже, даже скат на таком-то ветру и морозе. А платформы, как назло, все старые, подшипники все горят, и оси горят. И я кричу в будку — выходит вся бригада, и мы начинаем подсовывать под ось палки-елки — вываживать, а ветер свистит, руки, как клешни у вареных раков... И только бы этот чертов скат был единственным в этом составе — тогда в нашу конуру, к красной печке...

А когда Генрих попал в извержение, у меня на буровой в утреннем тумане в зумпф с глиняным раствором упала и утонула коза... Сбегали мои работяги за мной. И вот стою и смотрю, как неловко они эту козу извлекают и дотронуться до нее боятся, и думаю, что мне теперь с этой козой делать, как быть с ее хозяйкой? Денег уже вторую педелю нет, нечем мне с ней расплачиваться... Или просто зарыть эту козу, будто ее и не было? Тоже нехорошо... И чем мне теперь работяг кормить, раз артельные и вообще все деньги вышли? Разве у куркуля Петра запясть? У него должны быть, только он разве даст, сам с голоду подохнет, а не даст. И лучше бы, думаю, прибили мы эту козу в свое время, раз уж все равно ей суждено было, да ели бы теперь ее мясо.

И что общего у нас с Генрихом? Ничего. Он в команде мастеров играл, а я даже в детстве футболом не увлекался. Он два факультета кончил, самых сложных, а я в том же институте — один, самый легкий, и то с трудом в три приема: между первым и вторым курсом поместив завод, а между вторым и третьим — армию... И ни разу не попадал я на передний край — все какнесто задворки: ни почета, ни перспектив, ни даже выполнения плана, ни в газетах не напишут, ни даже благодарности в приказе не дождешься. Только вот люди мне

всегда исключительные попадались. Или очень хорошие...

Зачем я, собственно, лечу к Генриху? Я лечу в творческую командировку. Но это еще ничего не объясняет. То есть не объясняет зачем. И вообще, что это такое, творческая командировка? По совести, понятия не имею. Никогда в такие командировки не ездил. И всегда относился к ним пренебрежительно. Ехать, утверждал я, так ехать. Застрывать. Надолго. Работать. Вариться. Никакой ты не писатель, а вот приехал жить и работать, по необходимости приехал, так уж жизнь сложилась. Пройдет время, жизнь твоя перегруппируется — вернешься домой, к маме, к жене и детям. Только так ты можешь что-то увидеть, если точка зрения у тебя естественна и ты на нее не взобрался, а в ней находишься, в этой точке. А то — что такое... говорил я, творческая командировка!.. Приехал, посмотрел и уехал. Ничего не увидел, ничего не понял. Ни в чем не властен. Что покажут — то и ладно. Не годится, говорил я, не годится уважающему себя автору допускать себя до таких вещей. Да потом, если все будет прежде, чем ты успеешь куда-нибудь войти, знать, что ты писатель, то все для тебя будет закрыто, все будут цепенеть и мертветь перед тобой, и люди, желая лучшего, станут натянутые и неживые, как на групповой фотографии, снятой провинциальным фотографом.

Но я лечу, если можно назвать полетом бесконечные сидения в каждом промежуточном аэропорту. И я не переменял точку зрения на подобные командировки. А вот соблазнился... Такая возможность: съездить к другу, в места, где давно мечтал побывать, а случая к тому все нет как нет, — такая возможность — грех ее упускать. И вот если раньше я ездил все и ездил, оказывался то там, то тут — работяга, солдат, геолог — и все что-то интересное увозил с собой в памяти, то теперь еду специально, чтобы обогатиться творческим материалом, быть ближе к жизни (куда уж ближе, если ты живой!), еду специально, чтобы увидеть нечто из ряда вон выходящее, а это ведь мой собственный приятель, друг детства... И поневоле возникает мысль: а как вдруг я возьму и ничего, ничегошеньки не увижу из-за этого своего «специального» намерения увидеть? А если все вдруг онемееет перед моим специальным взором, что же я напишу тогда? Стидно ведь будет.

Бросил дома дела, жена опять ворчит, что уехал, кто теперь дрова колоть будет и печки топить? И художник, мой друг, что-то к нам домой зачастил, и дочка опять простужена. И еду я мешать занятым людям, и в деле-то я их ни черта не смыслю, буду спрашивать какие-то маловажные глупости с серьезным видом, и прочее, и прочее, и прочее приходит на ум, когда лежишь третьи сутки и все без сна, и все ждешь.

«Что-то не так,— говорим мы в та- **ЧТО-ТО НЕ ТАК.** ком случае,— что-то пошло не так». В последнее время меня поддерживает уверенность, что всегда можно вернуться к себе и выделить это «что-то не так» опять же в себе и исправить — и все будет «так». Скажем, врать тебе приходится в последнее время слишком много. И больно, и противно, и не хочется — а приходится. И вроде бы ты не властен: все это ты вроде вынужден делать из самых человеческих чувств и побуждений. А заглянешь в себя и найдешь пакость, исправишь, если не поздно,— и врать вдруг не окажется никакой надобности и окажется ты властен. Или тебе вдруг врут — как это больно! — стучись, ломись, будь прав, требуй — все без толку, как об стену, отчаяться можно. И что остается? Задай себе вопрос: почему это мне врут? Вернись к себе — найдешь пакость, исправишь, если не поздно,— и врать тебе вдруг никакой ни у кого не окажется надобности. И т. д. Приблизительно, конечно, и слишком просто. Но так я себя утешаю в последнее время и так стараюсь жить.

Ну, а если погода нелетная?

Тут ты вроде не виноват. Можно, конечно, и тут найти свою вину. У каждого она такая, предотъездная вина найдется: в суতোлке последнего дня, больше или меньше, но обязательно чье-нибудь чувство или движение то ли толкнешь, то ли придавишь ненароком, то ли не заметишь, то ли чьих-то искренних даров не примешь, то ли сам не поделиться. И это хорошо: найти в себе такое и приговорить, чтобы больше не было, хотя и снова все повторится в следующий раз. Но погода от этого все-таки не исправится. Нелетная — и все тут.

Ты сидишь на чемоданах и вдруг поймаешь себя на том, что давно уже, устав вскакивать, прохаживаться, потягиваться, прислушиваться, то ли бормочешь, то ли напеваешь себе: «Что-то не так, что-то не так...»

И действительно...

И опыт вроде есть, а проходит время — и забываешь. Все рисуется схематично и плакатно. Длинные, полупустые залы, немногие люди с красивыми портфелями (ручная кладь) не спеша занимают свои красные позы, сами изящные и продолговатые, как манекены (удобно, выгодно) или как воздушные лайнеры. И все представляется таким стремительным, просторным и вытянутым, как рисунок архитектора (бетон, стекло), с уже выросшими деревьями и нарисованным для масштаба человеком. Новые кварталы, новые районы, город будущего... И ты, припрыгивающий от острого и стесняющего ощущения дороги, видишь себя тоже таким вытянутым, стремительным и изящным, пока не споткнешься или зеркало тебе дорогу не перебежит, и не окажешься ты живой и несколько растерянный человек в живой и несколько бессмысленной толкотне и неразберихе.

Быстро, удобно, выгодно. Слаженная, четкая работа. Квалифицированный персонал. Все для удобства, все к услугам. Два часа — и ты из зимы попадаешь в лето, пальмы и море. Четыре часа — и ты вообще черт знает где, то ли в Париже, то ли на Таймыре. Все это так или все это почти так (за вычетом столь понятных в любом деле и столь постоянных накладок) при одном условии: если погода — летная. Пассажиры прилетают и улетают, выпивают кофе и прочитывают газету, сегодня здесь — завтра там, пустые скамейки глядят отчужденно и холодно, хозяйственный человек скажет: и зачем это надо? Столько места, столько средств? Вполне можно было обойтись небольшим зданием.

А если погода нелетная?

Все тогда очень просто. Пассажиры дисциплинированно прибывают за час до отлета, проходит час, и они не улетают. И следующие пассажиры прибывают — и не улетают. Сегодня здесь, завтра — тоже здесь. И послезавтра. Что тогда? Удивительно маленькими строятся наши аэровокзалы. Их надо строить безбрежными. На их месте должны вырастать города.

И газеты все читаны-перечитаны. Когда еще выйдут завтрашние? Всю жизнь я чего-то жду. Оп, она, они чего-то ждут. Мы чего-то ждем. И вы чего-то ждете. И мест свободных нет. Ждем любимых — и они не идут. Ждем денег, а их задерживают. Ждем квартиры — оче-

редь все не доходит. Ждем решений по поводу наших дел. Как только решатся эти дела, возникнут следующие, еще не решенные. Ждем автобуса, трамвая и самолета. Подходит наконец, набитый, дверей не открывает, и мы начинаем ждать следующего. «Знаете, — сказал мне один нервный человек из очередей, — что у нас самое дешевое?» — «Не-ет...» — сказал я в уверенности, что если такой простой вопрос задается, то ответить на него все равно не удастся. «Время, молодой человек, время!» — воскликнул он и исчез. Как не бывало. Что-то было в этом. Если подумать. Конечно, зачем такие обобщения, бывает так, бывает и иначе, надо иметь терпение, скажут люди, степенные и обходящиеся без очередей. Но я в чем-то соглашусь с этим дьяволом — вот ведь, шепнул и исчез, пригрезился, что ли?

Э, да бросьте вы обобщать. Неверно это. Несправедливо. И мешает строить. Просто нелетная погода. А завтра что будет? Будет сол-ныш-ко! И мы все улетим. Куда кому надо.

Вот я все торчу в аэропортах, злюсь, брюзжу и не живу тол- **XII И ВСЕ БУДУЩИЕ ПОДВИГИ ГЕНРИХА.** ком. А если я такой прилечу, то что увижу и что напишу в результате? Вот передо мной десятки газет и журналов, и все пишут про Генриха. Своего Генриха я не узнаю, а нового представляю себе по ним так... По газетным и журнальным статьям: «Робинзоны штурмуют огненное логово», «Идущие по облакам», «Карлик становится великаном», «На краю пропасти» и многим другим.

Тоскливо и нудно выбивает дробь на крышах палатки треклятый дождь. Облака напалзают прямо на палатку — зги не видеть. Все вокруг дышит исполинской мощью. Многие из вершин загадочно смотрят в синее небо темными глазницами кратеров, иные курятся белым дымком. Величественные и безмолвные, словно сфинксы, изваянные катастрофами мироздания, они манят и будоражат воображение.

А они сидят на этом вздыбленном куске земли, а вокруг все так же поет, пляшет, кружится снежная карусель. Пять дней назад должен был прилететь за ними вертолет, и уже семь дней подряд все заслонила собой ревущая белая мгла. В этой крошечной снеговерти они давно потеряли счет дням и ночам, с трудом различая их. Кончилось топливо. Ложка тушенки в день. Ложка — на четверых. Ее, разведенную водой, съедали в обед. На завтрак и ужин пищей служили шутки. Говорят, в смехе тоже содержится определенное число калорий.

Дракон притих, затаился перед новым прыжком.



— Ребята, мы — накануне больших событий, — взволнованно сказал Генрих. — Надо собираться в путь.

Старый геолог был хмур и неласков. В наушниках проскрипело:

— Возражаю. Категорически! Скалы. Пропасти. Будут трупы. С гарантией. Ждите. Прояснения.

Разгневанный дракон встретил «гостей» канонадой. А может, он салютовал непокорным? Но зачем тогда багрово-черная туча, что протянулась по небу? Да, опасно, да, риск... Но чтобы сказать новое, чтобы открыть неоткрытое, рисковали везде и всегда.

На вершине ветер дул со штормовой силой при морозе в 40 градусов. Кинокамера и фотоаппараты замерзли. Генрих отогрел один из фотоаппаратов на своем теле, и это позволило ему сделать несколько снимков. Точно отвечая дерзким возмутителям векового покоя, горы огрызнулись басовитым эхом. Миг — и все смешалось в страшном грохоте. У них на глазах расступилась земля.

За грохотом Генрих не расслышал испуганный крик друзей. Но он и сам понял, что единственное спасение — вскарабкаться как можно выше. Он цеплялся, ломая ногти, за каждый выступ отвесной стены. Огромные глыбы с дикой скоростью неслись на него, обрстая по пути. Генрих прильнул всем телом к отвесной скале, слился с нею, вздохнул с облегчением: ну, пронесло.

Додумать не успел. На последнем издыхании дракон все же задел его крылом. Генриха сорвало со скалы. Измолоченный, почти потерявший сознание, он делал нечеловеческие усилия, чтобы уцепиться за землю. Он знал: там, метров на сто восемьдесят пять ниже — бездонная пропасть.

Но на гладкой спине застывшего лавового потока уцепиться не за что. Ни выступа, ни трещины, ни кустика. Конец.

Генрих закрыл глаза и немного подогнул ноги...

Когда друзья добежали до Генриха, он был без сознания, весь в крови, переломанные руки безжизненно висели, как надломленные ветви дерева.

— Может, дать SOS?

— Я против, — сказал Генрих, глядя на друзей.

Радист без усталости отправлял в эфир тревожные сигналы. Эфир — затянутое туманом небо — зловец молчал. Герои не отвечали.

Но солнце еще не село, когда Генрих лежал на операционном столе. Четыре тяжелых перелома конечностей, большая потеря крови и сотрясение мозга. Сотни ушибов в счет не шли. Их было невозможно сосчитать. Но опытные руки врачей сделали свое дело. Сделала свое дело и свежая кровь безвестного донора. Остальное завершили главные целители: молодость и крепкий организм спортсмена.

...Мы встретились с ним вновь на краю кратера. Наши куры и редиска пришлись всем по вкусу. Генрих, худощавый, небритый, с удивительно живыми и веселыми глазами, рисуя в воздухе куриной лапой, объяснял, зачем он будет спускаться в кратер.

Грозная «преисподняя» вела себя активно. Из кратера густо валил сернистый дым, слышался непрерывный гул и стук. Но страсть исследователей оказалась сильнее опасений.

— Буду спускаться, — произнес Генрих, заглянув в дымную глубь и прислушиваясь к гулу.

Вулканологи, такие же, как он сам, молча принялись за дело.

Генрих, обвешанный двумя рюкзаками, противогазом и фотоаппаратом, поправил на голове каску и, приветливо махнув рукой, повис над гудящей пропастью.

Мы оглянулись на домик вулканологов и увидели самодельный плакат, бьющийся на ветру:

### НАШИ ВУЛКАНЫ — ЛУЧШИЕ В МИРЕ!

Вышло солнце, и повалил тяжелый, мокрый снег.

А что я буду делать в это время? И где я буду? Ума не приложу. Воображение ничего не подсказывает. Все что-то похожее на сегодняшний день или на прошлый мерещится в будущем. А ведь как вспомнишь, ничего похожего на предыдущее никогда не случалось в последующем. Все что-нибудь новенькое, о чем ты и представления не имел. Вот сейчас подбираю себе событие, параллельное **ДВЕНАДЦАТОМУ ПОДВИГУ ГЕНРИХА**, и все какие-то нелепые в голову лезут.

Такая, например, странная история...

В то время, когда Генрих попал в свою первую переделку с вулканами: угодил в камнепад и получил четыре перелома конечностей, не считая сотен ушибов, — я служил в армии на Севере, и обстоятельства мои были очень будничны, прозаичны и лишены романтики. Как раз в то приблизительно время, осенью, мне удалось сменить работу на лесоповале на непыльную, как считалось, работенку. Наша машинистка в штабе ушла внезапно в декрет, а вольных, тем более незамужних, тем более умеющих на машинке, в поселке, бедном на женщин, не было. И вот тут высунулся я, потому что на машинке-то кое-как умел печатать. И сел я в штабе. Надо сказать, что к тому времени у меня уже сложилась кое-какая дружба с ребятами, так что о подрыве своего авторитета тем, что стал «штабной крысой», я не беспокоился. И вот сижу я, значит, стучаю. Например, приказ по гарнизону, чтобы владельцы собак такого-то числа заперли своих псов дома, потому что ввиду излишнего количества бродячих собак будет проведено профилактическое их уничтожение. Я, значит, перепечатаваю такую бумажку, а на следующий день славные псы валяются там и сям по поселку, пристреленные и совершенно мертвые. Не нравится это мне.

Я сижу в штабе **ДЕЛО О ДВУХ БАНКАХ ТУШЕНКИ**, и стучаю и уже мечтаю снова о лесоповале. Конеч-

но, тяжело и мошкара, но зато общество самое избранное, костер, чаек, воздух... И вот тут вваливается ко мне приятель и говорит: «Сунь куда-нибудь», и подает мне две банки тушенки. Я человек нелюбопытный, я беру их и молча закатываю под сейф. Он мне что-то говорит о том, как с машины свалился ящик тушенки, и шофер не заметил, а ребята разобрали, а это, значит, моя доля. Моя так моя. Сижку, стукаю. Отстучал и пошел домой, в казарму то есть. Наутро прихожу в штаб, вызывает меня замполка по хозяйству, тот самый Николай Васильевич Бебешев, капитан, о котором я уже писал раньше. А с ним рядом следователь, подполковник, сегодня утром для разбирательства всяких наших поднакопившихся солдатских дел прибывший. Я-то спокоен, думаю, что-нибудь перепечатать надо. Совесть-то у меня чиста. «Прибыл, так и так», — говорю. «Выкладывай», — говорит капитан Бебешев и на меня не смотрит. «Что, — говорю, — выкладывать, товарищ капитан?» — «Про тушенку», — говорит. «Про какую тушенку?» — говорю. «Про такую, — говорит, — в банках». Меня даже пот прошиб, и вкус ее замечательный, какой вчера был, когда мы ее, разогрев в печке, ели, омерзительным вдруг показался. «Никак нет, — говорю, — не было у меня никакой тушенки!» — «Постойте, — говорит подполковник, — вот вы говорите, что ее у вас не было... Значит, вы допускаете мысль, что она у вас могла быть, иначе вы бы не построили так фразу, значит... Я верю, что ее у вас не было, но что-то вы о ней знаете. Что вы о ней знаете? Вы ее у кого-то видели? У кого?» — «Ну и гусь, — думаю я, — это тебе не Бебешев». — «Никак нет, — говорю, — не видел!» — «Как же, вот я записал, вы сказали: «Не было у меня никакой тушенки». Значит, вы допускаете мысль, что она...» и т. д. — все сначала. «Так я потому сказал, — говорю я ему в тон, — что меня так спросили. Спрашивают про тушенку — я про тушенку и отвечаю. В ответе по уставу должно быть повторено то, что сказал командир». — «Вы же образованный человек, — начинает капать следователь, — зачем вы простачком прикидываетесь?» — «Срам! — вдруг кричит Бебешев. — Я же сам у тебя эти банки видел!» — «Где?» — обомлел я. «Под сейфом!» — «Под сейфом?» — говорю я, все еще удивленно, что естественно, когда подгибаются колени.

шел, я в сейф-то за бумагой одной полез, а банка-то и выкатилась, а я уже тогда,—говорит Бебешев, страшно довольный собой и своей пронизательностью,—уже тогда знал про пропажу ящика тушенки. Я, не будучи дураком, и закатил ее назад, как будто и не видел. Утром, думаю, поймаю с поличным. А ты ее, выходит, уволок! У меня отлегло. Ну и дурак же ты, думаю. «Никак нет»,—говорю. «Что—никак нет?!»—Бебешев наливается кровью. «Не может быть,—говорю,—не было у меня никакой тушенки».—«Да что я, с ума сошел, что ли!—кричит Бебешев, и вижу, действительно близок к этому.—Я же своими глазами видел».—«Вы, может, видели,—говорю я,—а я не видел. Сейф за моей спиной стоит, мало ли тут всякого народа шляется».—«В штабе не шляются!—кричит Бебешев.—Распустились!»—«Виноват,—говорю,—мало ли тут народу ходит».—«Так-то,—говорит Бебешев.—Так как же?»—«Что—как же?»—говорю. «Тушенка!!!»—орет он. «Не видал»,—говорю. «Как же ты, паршивец! И не стыдно тебе! Ведь сам вчера небось ел ее! Банки пустые за казармой сегодня нашли...»—«Не ел»,—говорю. «Ел!»—кричит Бебешев. «Не ел!»—говорю. «Ел!!!»—«Перестаньте,—говорю,—меня мучить, я и сегодня-то не успел позавтракать—в штаб торопился. А если не верите—сделайте анализ». «Что?!—Как его кандрашка не хватила, не знаю.—Анализ!»—«Ладно,—вдруг обрывает его подполковник,—не кричите.—И смотрит на меня, а глаза его смеются.—Не знает он ничего. А если и знает, то все соображает и нам его не сбить с толку. Правильно я говорю?»—доверительно обращается он ко мне. «Никак нет, тр-п-п!»—говорю я. «То есть, как?»—говорит он. «Не видел»,—тупо говорю я. «Идите, Дрейфус»,—устало махнул рукой подполковник.

Больше не работал я машинисткой—вернулся в свою бригаду. Лес валить. Мошकारа, правда. Но зато костер, чаек, общество...

«Ну, ничего. Скоро уже все увижу своими глазами,—успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе.—Мало ли что пишут. Кушать-то надо... Ладно, пора спать».

А почевал я в аэровокзале X. Вот уж свободных мест нет! То есть, чтобы в огромном этом здании я нашел хоть одно свободное место так, чтобы можно было

сесть на пол, прислонившись спиной к стене; — так такого места ни одного не было. Свободными оставались лишь дверные проемы. И то, если отворялась одна створка, а другая была на шпингалете, то у этой другой створки наверняка кто-нибудь привалился, счастливчик. Лестницы тоже были заняты. Узенькая дорожка — змейкой между телами. Ловко перешагивая, перепрыгивая и подтягиваясь, можно пройти и никого не задеть. Впрочем, никого это уже не заденет. Я не нашел ни одной плевательницы. Их будто не было. «Что такое?» — думал я. И не сразу обнаружил, что просто все они перевернуты на попа и на них сидят, и оттого их не видно.

Я пристроился на лестнице и был счастлив. Миловидные сибирские студентки техникума пели свои студенческие песни, и вокруг них вились их курсанты. Девушки пели, и никто их не одергивал, что спать мешают. Тут уже было так: если кто хочет спать — то и спит, и песня ему не мешает, и ступени не впиваются ему в бок, и газета мягче перины, а не можешь уснуть — то и спать не хочешь. Я и не хочу, значит, и смотрю, а горизонт в этой позе у стенки неширок.

Вижу я, если посмотреть вверх, широкие гладкие колени одной из студенток, сзади ей шепчет что-то курсант, а она и не слышит. Она очень уверена в своих коленях. Она видит, как я смотрю на ее колени — это ее не смущает, только смотрит она на меня уже как-то внимательней. «Вот, — думаю, — у меня-то колени не видны?» Но пора уже либо что-то предпринимать, либо отводить взор. И я отвожу. И она со вздохом начинает прислушиваться к шепоту курсанта.

Смотрю вниз. До конца лестницы рассыпаны неподвижные тела. Вот парень, здоровила, развалился через все ступеньки, рука под голову, спит и во сне улыбается. А рядом со мной чинный такой паренек — кепочка махонькая, степенность необыкновенная. Сидит, читает толстенную книгу «У нас в Байлык-Чурбане», роман. Сбоку у него сеточка, в сеточке аккуратный большой пакет, веревочкой перевязан. Рядом с ним молодой, светлый лейтенант, младший. Лицо круглое, детское, глаза круглые, ясные — скучно ему. Смотрит он своими ясными глазами, и заговорить ему хочется. И девушек свободных нет. И у меня, рядом, лицо, по-видимому, неразговорчивое. А паренек книжку читает,

толстую, обстоятельную, еще много ему читать. А сбоку у него что-то в сеточке лежит. «Друг, а друг?..» — умоляюще говорит лейтенант. Друг и не шелохнулся. И не то чтобы не слышал — просто дочитать надо. Медленно ползут его глаза вдоль строчки. Есть. Готово. То ли точка, то ли абзац. Поднимает глаза на лейтенанта. Одинаковые у них оказываются глаза. Лейтенант словно счастью своему не верит — так обрадовался, расплылся. «Что это у тебя за книга?» Парень молча приподнимает ее так, чтобы лейтенант мог прочесть название. «Мгм, — говорит лейтенант, не знает он такой книги. — Интересная?» — «Интересная, — наконец говорит парень, опускает ее и снова начинает читать, так же медленно ползет его взгляд. — Про наши места», — добавляет он и замолкает совсем. «Друг, а друг?» — Парень опять так же сначала дочитывает до точки, потом поднимает глаза. «А это что у тебя?» — И лейтенант показывает на сеточку. Медленно и словно бы не зная, что бы это еще там такое, парень поворачивается и видит сеточку. «Книги? — говорит лейтенант. — Дай почитать?» Парень поднимает голову, смотрит на лейтенанта. «Нет», — говорит. По лицу лейтенанта пробегает отчаяние. «А что там у тебя?» А парень уже снова смотрит в книгу, странный парень. «Альбом», — говорит он. «Дай посмотреть?» Вот ведь ребенок. И лицо у лейтенанта такое, словно он снежную бабу лепит.

Парень дочитывает до точки. Откладывает книгу, достает пакет, развязывает тщательные его веревочки и молча подает альбом лейтенанту. Лейтенант смотрит. Буровая, так я и думал, что парень с буровой! Откуда же еще... Я смотрю лейтенанту через плечо — интересно-то до чего! Сколько я этих альбомов пересмотрел! Все одно — и всегда интересно. Вот солдатики стоят. «Служил?» — «Служил». Вот девочки кудрявенькие, шестимесячные. А вот и вовсе актрисы. «Хорошие девочки», — говорит лейтенант. А вот и еще одна, такая же кудрявенькая. «Невеста?» — «Она», — говорит парень. А сам словно бы читает. Чудо, а не парень. Самостоятельный...

А мы все не летим и не летим. Только вдруг по нашей лестнице движение началось. Человек двадцать летчиков, крепенькие, красные мужики с чемоданчиками. Как из баши. Невозмутимо, друг за другом, перешагивают спящих, а наверху — дверца. И лица их ничего

не выражают, когда они перешагивают. А потом они все по одному начинают спускаться... Когда же мы полетим, господа!

Я спустился в буфет. В левом крыле — буфет, и в правом крыле — буфет. В левом — цыплята и шампанское, и в правом — цыплята и шампанское. Зеркальное отражение. И магазины не работают — ночь. Бродят бессонные мужики, надувшись шампанским, икают: пьешь, пьешь — никакого проку.

И когда я вернулся, место мое уже было занято. Лейтенант и паренек разместили на нем шахматную доску. Паренек, конечно, задумался над ходом, а лейтенант ерзает от нетерпения.

Я бродил неверными шагами по залам аэровокзала. **РАССУЖДЕНИЕ О ПОДВИГЕ И ПОСТУПКЕ.** Вот уж — «не находил себе места»! Кресла, нарушив свои ряды, развернулись кто куда и разбрелись по залу и остановились кто где, словно приняв позы уснувших в них людей. Вот человек занял сразу два кресла — счастличик и нахал — но никто не требует и не отнимает у него второе... Значит, он дольше всех торчит тут, если у него два кресла, значит — по заслугам. Вот два кресла составлены корытцем — в них двое, валетом — семья...

Как только люди не ухитряются уснуть! Вот девочка, нарядная, свернулась клубочком прямо на стеклянном лотке — он ночью не торгует. А рядом туфли на остреньком каблучке стоят. Один стоит, а другой набор повалился. Заглянуть ей в лицо... Но лица не видеть — только волосы. Их погладить охота.

То ли судьба отступает перед нашим отчаянием и в последний момент предоставляет нам долгожданную возможность, то ли мы начинаем видеть эту возможность там, где бы раньше никогда не увидели... Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу: прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон входил в меня посторонний разговор, и в нем проступал некий сюжет, и я безвольно следил за ним вполуха, боковым зрением.

Она сидела в моем кресле, то есть в том, к которому я прислонился, и все рассказывала, рассказывала, словно бежала. Голос был молодой, хриплый и высокий. Иногда она заикалась или задыхалась — чуть запиналась на бегу. Какая-то бесконечная интонация просто-

душного удивления царила в ее речи. Словно она пересказывала слышанную где-то историю, которую запомнила не вполне отчетливо, и, пересказывая, с удивлением обнаруживала, что все это ведь с ней самой произошло... Она все рассказывала, рассказывала... А соседка все слушала.

Я не видел обеих, но голоса их были так откровенны. Один волновал, другой раздражал. «А он что? А вы? Ах ты, господи!» — иногда вставляла соседка голосом дамы, и была видна ее пухлость, ее круглые каренкие глаза, безуспешная миνα участия и нескрываемая похоть к чужой жизни — азарт людоедства. А рассказчица... За ее голосом сразу было видно лицо, и в этом лице был человек. Я опасался оглянуться, чтобы вдруг не разрушилась эта цельность. Я не сразу понимал, о чем речь, так укачивал меня этот голос. Ее слова проходили сквозь дрему и переходили в картины сна, и картины эти таяли на поверхности ее слов.

А сюжет был до того прост!.. Жила на Сахалине и сошлась с лейтенантом, летчик он, техник. Нет, про женитьбу она и не заговаривала — любовь была. И вдруг его в другую часть переводят, в Забайкалье. Он сказал: только устраюсь на месте и вызову тебя, Катя. И вот письма нет и нет. Месяц нет и другой нет. Тут тетка заметила, что Катя беременна. Избила, изматерила и как начала пилить изо дня в день... («Что вы говорите? Надо же...» — сокрушалась соседка.) Так я полгода промолчала, рта не открыла, пока вот он не родился... (Я невольно оглянулся и увидел Катину длинную спину, острый локоть и прямое плечо, краешек одеяла из-под локтя — и задохнулся: все было таким же, как голос. И отвернулся поспешно с чувством вора.) Тетка тут вроде Катю простила, влюбившись в племянника, и начала действовать. Узнала как-то, кто он, где служил и куда перевели, и написала в часть. И вот Катя едет к нему, и что-то нехорошо на душе. Если любит, то почему не писал полгода? А если не любит, а только боится — военный ведь — то зачем ей ехать? Конечно, трудно одной, но уж лучше тогда одной. Я бы ведь и не стала причинять ему никаких неприятностей... Если он так, то лучше бы я не поехала... Да и сама-то я уже не понимаю, люблю ли его... Еду и, чем ближе, тем больше мучаюсь: может, я сама к нему не хочу?.. («Ну, конечно, — говорит соседка, — так им и надо. А то все



цветочки-ягодки. Саночки возить. Живи, а не живи — то плати... Правильно сделали, что поехали. Ну да, совершенно с вами согласна: что же без любви, без любви и деньги не нужны... Ну, конечно, поезжайте... Ну, конечно, не поезжайте...») Может, все-таки мне назад вернуться, говорила Катя. Тетка съест... А вдруг он все-таки любит меня и хочет сына увидеть? И так она себя уговаривала, упрасивала, а сама-то все уже знала...

Был тут еще один человек — мой сосед напротив. Был он немолод, некрасив и одет не по-городскому, в сапогах и свитере. Он прикрылся полушубком, но не спал, а тоже прислушивался к разговору. Иногда он поднимал свои маленькие жесткие глаза, и было понятно, что он видит ее лицо. С какого-то момента он уже не отрывал от нее взгляда и смотрел мрачно, сбывшись, чуть ли не зло. Казался все более усталым, неспавшим и трезвым человеком. Вдруг он встал, неожиданно большого роста...

«Брось, — сказал он, — не езжай ты к нему, не стоит». «Правда?» — с надеждой спросила она, повернувшись к нему всем голосом, как бросившись. (Тут я вывернул шею и увидел ее лицо... Все было точно. Точно так. Я не подумал, что лейтенант трус или дряццо... Я подумал, что он просто дурак. Я смотрел в это веснушчатое широкоглазое лицо, и подростковое рыцарство зашевелилось во мне, погнав передо мной воинственные картинки воображения.) «Правда? Вы так думаете? — с непонятной радостью отвечала она моему соседу. — Вот и я так думаю. — Тут по ее лицу пробежала как бы тень от облака. — Но как же...» — «Слушай, — сказал сосед, — пойдем и сдадим твой билет. И купим другой. (Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит... Оказался он прораб, он ведь и был похож на прораба.) Если захочешь, — заключил он, — выйдешь за меня, а его усыновлю». Говорил он просто и куцо, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним.

А когда они вернулись, я не узнал ее. Он шел рядом и говорил ей что-то свое, мерное и основательное, а лицо ее было такое, что смотреть на него было все равно, что подсматривать, и я отвернулся. Я испытывал чувство острой зависти и ревности к чужому поступку.

120 · Вот и весь романс. Я вполне допускаю, что они будут

потом ругаться и ссориться и что счастье их не будет безоблачным, но одного не будет никогда — никогда он не вспомнит, не похвастается, не упрекнет ее тем, как подобрал ее с ребенком, никогда не поставит этого себе в заслугу и не потребует награды. Потому что это был поступок в подлинном и полном значении этого слова, и он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования.

Время выдвигает свое слово. И слово это — ПОСТУПОК. Способность к поступку — основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. А подвиг... Они, конечно, были, есть и будут в наше удивительное время. Но ведь вот даже возникают непонятные дискуссии: «В жизни есть место подвигам? В жизни нет места подвигам?» Бессмысленно ведь спросить: «В жизни есть место поступкам?»

Поступок — форма воплощения человека. Он непритворлив на вид и исключительно труден в исполнении. Неблагодарен в принципе. Подвиг ищет форму и требует условий, подразумевает награду. Поступок существует вне этого. И подвиг я могу понять лишь как частный вид поступка, способный служить всеобщим примером.

Так я вылился в цепь размышлений на почве поступка, совершенного за меня другим человеком. Вот они и уходят, двое счастливых, от меня, завистливого, и я перевожу взор...

И вот сидит девочка на сундуке, в валенках, в варежках и большим пуховым платком вся крест-накрест перевязана. Сидит пряменько, ноги рядышком, ровненько поставлены, и ручки на колени ровненько положены, а лицо серьезное, покорное. «Жди, — сказал отец, — куда не уходи». Мужик он уже немолодой, мрачный, а дочка у него вон какая, махонькая. Сидит, ждет. Не шелохнется. Славная девчонка... Смотрю я на нее умильно, она это видит, но не реагирует. А отец ее мне не нравится. Жарища, духота, расстегнул бы ее хоть, что ли. Бросил ребенка, а сам шампанское небось пить пошел. Но вот он возвращается. Устало утирает лысину и снова надевает шапку. Стелит газету и пристраивается рядом не то с сундуком, не то с дочкой. И все молча. Жарко ему становится. Стягивает валенки, снимает полушубок. «Вот ведь, — думаю, — ребенок парится, а

он...» А он вдруг смотрит на дочь, и какая-то мысль медленно проворачивается в его мозгу. И вдруг словно понимает что-то. Стаскивает с нее валенки, развязывает платок. И с такой он это нежностью делает! Снова укладывается. Достает яблоко, начинает есть. Ест — и снова мысль пробирается ему в голову. Начинает рыться. Отрывает самое распрекрасное яблоко и дочке дает. «Что же это? — думаю. — Вот как дивно!» Просто он только через себя все понять может. Ему нежарко — то и всем нежарко. Он сыт — то и все сыты. А так сердце у него, как и у людей — замечательное: ему жарко — то и всем жарко, он голоден — и все голодны. А особенно дочка. А может, баба его бросила? И ему одному с девочкой непривычно? А может... Что мы вообще знаем о людях? А все судим и судим.

Не так ли я то ли сужу, то ли не понимаю тебя, Генрих? Сужу или не понимаю — одно и то же. И тогда я, наблюдающий и формулирующий этого мужика, который все чувствует и понимает только через себя, оказываюсь в большей степени таким мужиком, нежели он сам.

И наверно, окажусь я вдруг гораздо более уверенным и сытым человеком, чем ты. Не дано ли нам за нашу жизнь побывать во всех шкурах и состояниях и переходить в свои противоположности? И если мы были открыты и общительны, то становимся замкнуты и нелюдимы, и наоборот. И если мы были радостны и восторженны, то становимся угрюмы и мрачны. И если мы старались быть сильными, то вдруг — слабы. И если мы были верны, то не станем ли изменчивы, как вода?

Когда я вижу проповедь силы и мужества и делание жизни по ним, мне всегда мерещится кошмарная слабость. Мужество Джека Лондона и Хемингуэя не убеждают меня.

Я работал однажды под началом, очевидно, мужественного человека. Он был справедлив, сдержан, тверд. Он был очень силен и крепок в свои сорок пять. Мужественный шрам пересекал его лицо. Бывший начальник партизанского отряда, а теперь начальник огромной экспедиции, член бюро райкома. У него была молодая хорошенькая жена и две маленьких девочки — чудо,

а не семья. Парился он в бане крепче всех, и ни один подчиненный не мог с ним сравниться. По утрам, на рассвете, раньше всех, в любую погоду он выскакивал в легком тренировочном костюме, делал зарядку и бежал к ручью, где обливался ледяной водой. И ровно в восемь его можно было застать в конторе, бодрого, свежевыбритого. И ровно в девять он садился сам за руль «козла» (шофер сидел рядом) и лихо стартовал на объекты. Он был до того похож на положительный образ руководителя из нашего обкомовского романа, что это нарушало все мои представления о жизни, по которым такой руководитель всегда бывал выдуман неким мечтателем. И если все было в нем так, как казалось, потому что он не был ни фальшивым, ни наигранным человеком, то мне все равно мерещилось что-то не так. А если все-таки так, то какой же ценой, думал я, уплачено за все это? Или будет уплачено? За молодую жену, за парилку и обливание холодной водой, за негибаемость, твердость? Каким же одиноким и слабым останется он, если совсем некому будет посмотреть на него?

И однажды я увидел... Тор- **РАССЫПАННОЕ ЛИЦО.** жество мое было мелким и ничтожным по сравнению с болью, какую я почувствовал, глядя... Он сидел, наконец оставшись совсем один, уверенный, что никто больше не войдет, не увидит... Про него нельзя было сказать, что он сидел, что он вообще занимал какое-то положение и форму в пространстве — это была рассыпавшаяся, старая, слабая куча, именно куча, в которую были свалены абстрактные, не имевшие никакого смысла черты: и твердый подбородок, и рот, и шрам, и проседь, и суровые брови, и тяжелые руки — весь набор был рассыпан по его столу. Он мычал, долго, протяжно, прерываясь лишь для вздоха. И это было страшно. Я так опешил, что не сразу сообразил тихо уйти, оставить его одного. И когда начал красться к выходу, что-то скрипнуло — он вздрогнул. Это было так болезненно, что мне было невыносимо — не знаю уж, как ему. Его рассыпанные черты вдруг стали прыгать на свои места: бровь вспрыгнула и сразу приобрела насуспенное, слегка удивленное выражение, студень губ, слегка подрожав, застыл в твердый его рот, и шрам, подергавшись, устроился на своем месте. Разборка и сборка затвора винтовки на скорость... И вот он, такой же смазанный, вороненый, с безотказным боем: «Вы ко мне?»

И тогда я поверил в его мужество.

Внешнее, скульптурное мужество настораживает меня. Почему закаленная сталь может обладать излишней твердостью и быть хрупкой при ударе? Говорят, хорошие пловцы чаще тонут. Люди спортивные, очень сильные физически, не переносят голод. И как убедительно мужество физически слабых и больных людей, их жизнестойкость: она — вынуждена, она оправдана. Там, где они будут добиваться и терпеть поражение, одаренному будет дано, и ему придется справляться с такими тонкими и страшными вещами, что и представить трудно.

И стало мне даже казаться, что против бытующих представлений сильный — это слабый и слабый — это сильный...

Но как мы успеваем за свою жизнь несколько раз устать от самих себя хотя бы в своей данности, то переходим в свою притовоположность. И сильные оказываются вдруг человечны и слабы. И слабые жестокосердны и сильны.

Может, наши роли уже переменились, Генрих? И я из человека, с детства терпевшего поражения, приустав, приостановившись, вдруг почувствовал во всем этом победу и превратился ныне в победителя, поставив перед собой цели конкретные и замкнутые в самих себе, короткие?.. И только тогда понял, как это пусто, одиноко и горько — победа, если с победой исчезает цель? А ты, всю жизнь бывший победителем, первым, вдруг почувствовал усталость и горечь поражения во всех своих победах?

В конце концов слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе, и сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Конный пешему, мол, не товарищ. Тут я ловлю себя на том, что все преувеличил, чрезмерно увлекшись в последнее время графикой чертежа. Я преувеличил, и с какой же радостью встречаюсь с тобой и увижу, что не прав. И что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой подтрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоров у тебя куча... И вдруг мы, всегда несколько настороженные друг к другу, потому что признать и принять друг друга для нас до сих пор значило в чем-то крупном, в целом, осознать свою зрящность и ничем-

ность, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали... За счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас. Я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно: «Знаешь, никогда раньше не уставал... А вот после последней переделки, когда мне проломило череп на Аваче, нет-нет, а стал иногда уставать...» — и закроешь глаза.

И твои помощники моложе тебя и **МОЛОЖЕ ТЕБЯ**, меня. И я долго буду внутренне не принимать их. Их магнитофоны с Клячкиным и Визбором, их внимание к поэзии, их ежедневные разминки, их баскетбол и бокс, их развешанный по стенам Чурленис, их самодельный модерн абажуров, полочек и торшеров, их наигранная суровость или молчаливость или сдержанность с мимолетными то там, то сям трубочками и бородачками, их вечеринки с песнями и сухим вином, песнями и девушками, поджавшими под себя ноги на медвежьих шкурах и поглядывающими из углов, их отношения с ними с благородными подтекстами любви по Хемингуэю — все это будет раздражать меня, во все это я буду не верить, все будет казаться мне ненастоящим, игрой, чем-то неестественным и неполноценным. И тогда я вдруг обнаружу, Генрих, что у нас с тобой много больше общего, чем я мог бы подозревать или предположить. Что время перемешало наши отличия и объединило нас, отделив нас сначала от старших, а потом от младших братьев. Мы переглядываемся с тобой на вечеринке, где твои товарищи моложе тебя и меня, и понимаем друг друга, и что-то сближает нас против них. И прежде чем я полюблю всех этих ребят и пойму, что я был несправедлив к ним, просто не знал их, а они — отличные, чистые, настоящие товарищи и, главное, никогда не продадут, не предадут... Так вот прежде чем полюблю их — ты благодаря им станешь мне близок, понятен и дорог не только как воспоминание детства, а как такой же человек, как я, такой, каких мы ищем и находим изредка, и они — друзья.

Все это можно с уверенностью утверждать, потому что, хотя и не прилетел еще к тебе и не встретился

с тобой, но ведь всякая вещь на документальной основе пишется потом, когда уже в прошлом не только полет к тебе, но и встреча с тобой, и отъезд назад, домой...

А пока мы все не летим. Я не лечу — и все не летят. И вдруг смятение какое-то и движение, словно ветерок пронесся. И побежали куда-то девушки в пилотках, на бегу набрасывая полушубки, и вдруг все расступились как-то. «Кто это? Кто это?» — пошел шепоток. И по радио ничего не объявляли. Вдруг — свита. И три деятеля: два высоченные, толстенные — он и она, муж и жена — он в сером, каракулевый, и трость, она — вся в шубе необыкновенной. К тому же они — не наши: лица широкие, чиновные, бесстрастные — и все расступается перед ними. А за ними парень, молодой, одет, как из журнала, и с догом — их сын, непохожий. Делегация, что ли? И распахнулись перед ними двери, крутануло из дверей снегом, ветром и темнотой, и захлопнулись за ними двери. Вышли они на аэродром и не возвращаются. Все нет их и нет. Сами они летают, что ли?

И смотрю я на эту внезапную пересылку, возникшую **ДВА СООБРАЖЕНИЯ.** в аэровокзале X. из-за нелетной погоды, и голова уже ничегошеньки не варит. Только в десятый раз, друг за другом, проворачиваются все одни и те же два соображения.

Одно, что Аэрофлот прочно вошел в быт народа, потому что кто же не летает? И старухи, уж до того древние, летят с Сахалина в Москву в гости, и наоборот. И переселяются насовсем с Украины на Камчатку. И есть, да и полно таких, что поезда, например, никогда не видели, а летают не впервые. И дремлют старухи на чемоданах в боевой готовности: а вдруг, хоть и завтра лететь, но сейчас объявят посадку. И нервничают старухи и не спят: куда подевались их сыновья, опять застряли в буфете, — темные старухи, древние, не растегиваются, не разуваются, а ноги болят-болят, неразутые (мозоля небось), и не слезают с сундуков, и руками чемоданы придерживают, и не спят вовсе.

До чего все, если присмотреться, пронзительно и любимо в этом мире! И летают темные старухи над страной, раскидав огромные материнские крылья своих шалей, и обнимают они Землю и своих детей на ней и

в ней, и уходят они в землю, а на сундуке сидит махонькая серьезная девочка, дочь мужика, который все понимает через себя, отец ее спит уже, а она не спит — сторожит, и принимает она от старух эстафету.

И такое тут переселение народов, что вспоминаю я войну, эшелоны, эвакуацию, и что-то хрипит радио, а люди все прислушиваются и прислушиваются, все ждут чего-то, и некоторые дожидаются в конце концов. Но тут только похоже, тут, слава богу, не то... И все же мерещится мне репетиция, а если не репетиция, то напоминание и урок. «Повторение — мать учения», а учиться надо с первого раза. И это мое второе соображение.

А радио хрипит, а люди все прислушиваются и ждут... И вдруг радио брякнуло, хрюкнуло, никто и не понял ничего, только ветер из общего вздоха всех людей закружил мусор по полу — и никого не стало.

Что общего у нас с тобой, Генрих?

ВРЕМЯ.

И мы снова летим. И на этот раз прилетим. Потому что там, где мы сядем, так далеко, что и самолеты эти огромные дальше не летят, а лишь свои, местные, да и сядем мы в пункте моего назначения.

И взлетали мы из пурги и ночи, а тут светлеть стало, и зарозовела под нами и вдали полоса, и стала она шириться и расти, и стали видны под нами белые плотные облака.

Потом засверкало все невыносимо. Погасли плафоны. Настало утро. Но там-то, внизу, мы думали, все та же темень и пурга, и это только тут, на десяти тысячах такое сверкание, потому что мы выше всех облаков — тут всегда сверканье.

И вдруг не стало под нами облаков. И не то чтобы мы уже пошли на посадку — просто мы влетели в хорошую погоду, а погода эта простиралась как раз над тем дальним краем, куда я летел. И там, глубоко под нами, были его горные цепи, как колотый сахар, и большие, голубые, конечно, озера — они разворачивались под крылом и то приходили, то уходили, будто кто поворачивал под нами это сизое блюдо с колотым сахаром. А старожилы кричали и тыкали пальцем в иллю-



минаторы: видишь, видишь! — и называли хитрые имена этих гор и этих озер.

А когда мы сели, то сели мы у подножья большого, отдельно стоящего вулкана. Над вершиной его было маленькое облачко, а внизу, у трапа, стоял мой знаменитый друг в кожаной куртке и широко улыбался.

Солнце, снег, друг и самое раннее в моей жизни утро, почти самое раннее во всей моей стране, а там, далеко, дома, еще спят во всю.

Здравствуй, друг! Это дома мы — противоположности. А здесь у нас все будет общее: крыша тут и дом там, в воспоминаниях. Я рад тебе. Я не только прилетел, я как бы вернулся назад, увидев тебя. Ты — залог моего возвращения. Собственно, оно уже началось — возвращение домой. Получай свои письма и гостинцы. Да, папа здоров, и мама здорова. Хорошо-то у вас как! Весна! «У нас всегда так», — бормочет друг. А что это за облачко над горой? Почему всюду ни одного и лишь над ним? «А это не гора, а вулкан. И не облачко, а это он курится...» — бормочет друг. Рот его раскрылся, и его нет рядом со мной. Это я — здесь, а он сейчас там, в Ленинграде. Мой друг читает письмо.

— Здравствуй!

**САД**



## ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ

Это было неизвестно, когда она позвонит. Но позвонить она собиралась. Обещала. Она должна была позвонить, и Алексей все шатался по квартире: словно бы листал газеты в прихожей и словно бы шел за ножом в кухню по коридору. Когда звонил телефон, Алексей подсакивал и снимал трубку, но звонила не она, не Ася. Дядьку, тетку, бабу — кого только не зовут к телефону! — но все не его. Мама тоже ходит по коридору и не разговаривает: что-то затаила. Хуже нет, когда у нее вот такое собранное лицо. Когда смотрит мимо, словно его, сына ее Алексея, и нет вовсе. Алексей устал гадать и обращать на это внимание: в последнее время всегда именно такое обращается к нему мамино лицо. И конечно же, подозрительно ей, что толчется он тут у телефона. Тогда, если мама появляется в коридоре, Алексей подходит, снимает трубку — узнает время. В следующий раз — набирает неопределенный номер, причем одну цифру недобирает. «Витю можно?» — говорит. Витя Кошеницын — хороший, маме нравилась бы такая дружба: сын сослуживицы — всё на виду — и учится хорошо. Алексей выжидает некоторое время, какое нужно, чтобы позвать человека к телефону, а потом начинает говорить о каком-то соленоиде, для смеха путая его с синусоидой, и городит такое, что ему даже легче становится. Иногда замолчит, словно слушая того, на другом конце, или так себе, хмыкнет неопределенно между молчаниями, или междометие вставит. А сам за это время нечто придумает да и скажет: «Конечно, потенциальная сила константы блока при пересечении магнитоидных искривлений системы равна гидравлической энергии питания электрода, альфа-омега-пси. Именно этого я не понимал», — повесит трубку. Маме нравятся такие разговоры.

Но тут, конечно же, судьба: вдруг он забыл обо всем — о чем же таком он думал глупом-глупом? — и когда, обмирая, бросился на звонок, — мама уже держала трубку: «Алексей, это тебя», — и по поджатым губам, по особенно бесстрастному ее голосу и взгляду совершенно любому ясно, что на этот раз звонит Ася: мама узнала ее голос. Тут уж ничего не остается — лишь бы

не покраснеть, подойти как можно спокойней, безразличней. Впрочем, не к чему и делать хорошую мину: ведь ясно же, недаром он толокся у телефона, все всё знают и понимают,— плохая игра, хорошая мина... Алексей берет трубку. «Да. Здравствуй...» Тут можно было бы и сказать: «Ася». Раз уж проворонил и тебя рассекретили. Если бы подошел сам или хотя бы кто другой, кроме мамы,— можно было бы говорить во втором лице настоящего времени, что и не поймешь, с кем ты говоришь. Но ведь и это спасает мало: слишком много получается мычания, чтобы мама не догадалась. Мама очень в этих вещах понимает. Непонятно даже как.

— Это мама подходила?— До чего же прекрасный голос!

— Да...

— А как ты понял, что это я?

— По... лицу.

— Маминому?

— Да.

Смеется, подумать только!

— Так ведь говорила с ней не я!

Что-то сразу сжимается в Алексее.

— Кто же?— говорит он и сам удивляется, как падает у него голос.

— Муж.

— А этому типу чего от тебя надо...— слова трепещут, тянутся и рвутся: словно одно — как камень, а другое — жидкое.

— Да ну что ты, Алеша, что ты! — ласково говорит она.— Ну ты же знаешь...

— Случайно встретила?..— говорит Алексей ядовито и уже не помнит, что нельзя говорить в прошедшем времени: выдает с головой — ла, ала, яла, пла. Не понимает, что тем более выдавать себя не к чему, что вызвал его мужской голос, а выходит, разговаривает он — с женским, слишком явная ложь. Такого в доме не любят.

— Ну, Алеша, к чему такой тон! — говорит Ася, и голос у нее такой, что еще не рассердилась, но может рассердиться, и какой он еще мальчик, Алеша.— Ты же знаешь, я тебе говорила, что должна была с ним встретиться...

Ну, положим, она этого ему никогда не говорила, но Алексей вдруг успокаивается. И тогда становится оче-

видно, что какая же тут ревность, раз он ЕЕ слышит, что и сказал он эти две фразы: «А этому типу чего от тебя надо...» и «Случайно встретила?..» — может, только потому, что разволновался от ее голоса, и не почему другому. Но этого по телефону не объяснишь. Да и объяснять не надо. Да и не совсем так это. Да и не так осознает все сам Алексей. И выходит, мамино лицо было вытянутым не потому, что она узнала Асю, — так просто, как всегда...

И тут уже ясно, о чем дальше разговор — о встрече. Вот если он еще немного потопчется в разговоре и не спросит — спросит она. А если не выдержит и спросит он — она, пожалуй, скажет, что сегодня не может, занята. И кто ее знает, как она там занята. И он говорит:

— Ну так я приду.

— Нет, Алеша, я сегодня занята. — Так он и знал!

— Чем же это? — опять слова то жидкие, то твердые.

— Господи, Алеша... Ну, стиркой. Новый год же...

— Так я тебе не буду мешать — просто посижу.

— Не надо, Алеша. И дома сегодня все будут.

— Я все-таки приду.

— И твоя мама...

И теперь уже все было ясно. Он, конечно, придет. Хотя у него дел по горло. Сессия. И мама будет коситься, что он опять уходит...

Но, чем больше упирается Ася, тем вернее, что он придет.

Ася живет у Нины, своей подруги, — снимает угол за пятнадцать рублей. Нина — красивая девушка, но никто ее не любит. Нина живет у отца, Сергея Владимировича, необыкновенного старика, из «бывших». И все они, втроем, живут в одной большой комнате, чрезвычайно пустой и словно бы необжитой. Чтобы попасть к ним, надо подняться на четвертый этаж, верхний в старинном доме. Подниматься надо по широкой лестнице со ступенями, удобными, как в старинных домах. На каждом марше, у высокого окна, вделана капитальная скамейка, для отдыха. И вот на четвертом, направо — дверь...

И всегда, когда Алексей нажимал звонок, все напрыгалось в нем. Потому что тут — пауза, шорох, шаги за дверью — все могло произойти. Могло не оказаться

Аси... И потом гадай, куда она делась. Сиди на удобной для того скамейке. Если откроет Ася — все хорошо. Но может открыть Нина, или Сергей Владимирович, или, если их нет, а ты все-таки позвонил еще раз, — соседи, самое худшее. У них такие лица, если они ему открывают, — он чувствует себя виноватым, неведомо, правда, в чем, тем более, впрочем, виноватым и зависимым. И если откроет не Ася, то опять же: либо она дома, либо ее нет. И тоже могут открыть по-разному. Особенно, Сергей Владимирович. Не просто открыть — тут множество оттенков. Хотя бы: какое будет при этом лицо, промолчат или что скажут, и что скажут, пригласят или оставят на лестнице...

Дверь открыл Сергей Владимирович. Он стоял в дверях, словно не узнавая, длинный, величественный до жалкости, деревянный, стоял, ничего не менялось в его неподвижности, и молчал. Словно вынуждал что-то. Поэтому Алексей не смог сказать: «Здравствуйте, Сергей Владимирович», а сказал, причем слишком отрывисто: — Ася дома?

Старик еще словно бы долго неподвижно смотрел на Алексея, а потом, резко повернувшись, прикрыл дверь, удалился, так же молча.

Алексей глупо стоял перед дверью.

И в это самое время, как назло, сзади подошла соседка — 2 звонка. Она встала за спиной, подышала. Алексей, вздрогнув, обернулся, и тогда она, ласково улыбнувшись, сказала:

— Вы уже звонили?

— Да, — твердо ответил Алексей и отошел от двери.

— Ах, она даже открыта!.. — распухшая сумка в одной руке, газета и кошелек — в другой, она растворяла дверь, проходила вперед сумкой, боком, и смотрела с ласковым любопытством. Совсем уж пройдя и прикрывая за собою дверь — на свету остался лишь один ее толстый глаз — сказала:

— Не закрывать?..

— Нет, — сказал Алексей срывающимся от злости голосом.

И надо же было ей подняться именно в эту минуту!

Не успели еще оттоптаться в прихожей ее шаги, дверь отворилась — Ася, ситцевый халатик. Руки у нее были мокрые, лицо — злое. Видно, кроме старика, ска-

завшего ей что-то, кроме стирки, — вот еще и столкнулась с соседкой — 2 звонка.

— Я же говорила, не приходи!

Больше ничего Алексею не надо, — стоит в дверях живая Ася, ситцевый халатик, плечи остро — под халатиком, руки мокрые, плепанцы огромные, ее голос, ее глаза и волосы. И это ему не кажется — на самом деле...

Ася смотрит на него, теплеет.

— Там война, понимаешь? Пропали у Сергея Владимировича штаны... — Она уже смеется. — Полчаса пождешь?

Господи, полчаса... Час! Два!

Сад. Уголок его. Скамейка между сараем и садом.

ОНА: Но так больше нельзя. Зима, понимаешь?.. А я хочу, чтобы было тепло. Чтобы я могла куда-то прийти. Это обязательно. И не все же обедать на деньги, что выдает тебе мама на завтрак? И ждать тебя по утрам, когда наконец я одна: придешь ты или не придешь? Ты-то, конечно, придешь... И целоваться вот здесь. И на лестнице тоже целоваться... Холодно ведь. Это тебе тепло. А мне — холодно...

ОН: Не надо так... И ты не права. Это так, конечно... Но ведь я тебя люблю. И ты... меня любишь. И мы бываем часто одни, совсем одни. Нам еще повезло. Я иногда удивляюсь, как нам везет. И ты знаешь ведь, я... все, что могу. Но я не все могу. Но я знаю, не думай... Это-то я уже знаю: счастье в каждом из нас, не в обстоятельствах. Ведь мы...

ОНА: Милый, ну... Ты — любишь. Я забыла. Дай я на тебя посмотрю. Ну как же не любить такого! Я — злая. Ты еще ребенок. Почему так? Может, я плохая, верно, испорченная... Хотя, кто это знает? Все осколки, сумятица... Но мне нужно все то, без чего ты готов прожить... Ведь ты живешь дома? А? Ты ведь живешь дома? Что, молчишь?.. Мама тебе готовит? Да? Спать ты ложишься в постельку? Вот пальто на тебе? Молчишь?..

ОН: Я тебе говорил. Я уйду, если ты настаиваешь...

ОНА: Не криви. Ты ведь умный, не идет тебе. Не уйдешь, голубчик. Ты привык. Ты, милый, гораздо больше без этого не можешь, чем я. Тебе — не уйти...

ОН: Уйду.



Она: Ну что ты!.. Ну вот и обиделся. Какой ты еще ребенок! Ну, не ребенок... Это ведь я не обидное тебе говорю. А зачем ты внимание обращаешь? Ты не обращай. Ну дай я тебе поцелую... Вот и вот. И сюда...

Он: Завтра же уйду... Уйду не потому, что ты... Уйду...

Она: Милый, ну куда же ты уйдешь? Зачем, главное? Для меня? А зачем это мне? И почему ты, собственно уйдешь? *(Смеется.)* Ты же... Ты же можешь привести меня?.. *(Смеется все звонче и тоньше.)* Ну да, к себе. У тебя же отдельная комната! Маленькая, правда... *(Резко хохотнув.)* Ты приведешь меня и скажешь: вот мы решили... *(Хочет, раскачиваясь.)* Воображаю, какое будет у нее лицо! *(Хочет, как всхлипывает, стихает.)* Ты молчишь? Что же ты молчишь? Что, не приведешь? Слабо ведь? Не можешь... А то приведи, а? Заживем. Отдельно, законно...

Он: Не надо. Не надо так, прошу тебя. Ты ведь знаешь...

Она: Что — знаешь? Что я такого знаю! Что я не могу прийти к тебе? А если я хочу?!. А почему же это я не могу прийти? П-почему?

Он: Не надо так... Ты же знаешь сама. Это будет не жизнь...

— Почему же — не жизнь? Она ведь у тебя умная, сдержанная, слова лишнего не скажет. Благородная... Почему же — не жизнь?.. *(Пауза.)* А я вот, иногда мечтаю, чтобы она была стерва. Чтобы была толстая, неряшливая, несдержанная. Чтобы считала, к примеру, сахар... Насколько было бы проще! Да я бы счастлива была... *(Пауза.)* Хорошая? Чем же это она — хорошая? Знаю, знаю! Но это ведь нехорошо быть такой вот хорошей! Выгодно! Она ведь... Почему бы я такой не была? Ты же ее боишься! Нет, а? Не любишь — боишься. *(Пауза.)* Будто я тебя отнимаю! Тут ведь не больше этого, если разобраться. Тебя-то тут и нет. Что молчишь? Молчишь что? Я знаю, ты сейчас думаешь, так же как она. Вы похожи. Ты не знаешь, что вы похожи. А я знаю.

— Я не похож.

— А ты не прячься. Я ведь не про лицо говорила. И ты прекрасно понял.

— Да.

— Нет, ты удивительный человек! Это только ты

можешь так сказать «да»... (Смеется, словно жмурится.) «Д-да...» Ведь никто не знает, какой ты на самом деле! Ты еще малёнький — не обижайся — ты еще малёнький. А какой же ты будешь?! Господи! Все будет с ума сходить. Я одна сейчас знаю, какой ты будешь. Мне Нинка говорит: что тебе в нем? А я знаю... Только меня вот — не будет с тобой.

— Конечно, буду.

— Только ты уж тогда не забывай. Покажись иногда. Чтобы я посмотрела. Покажешься, а? Я буду уже стару-уха.

— Не надо. Ну что ты говоришь!

— Вообще-то не такая уж и старая я буду. Маленькая собачка — до старости щенок... (Неживо смеется.) Так что тебе и не слишком стыдно будет меня увидеть, ты не бойся. Такое не проходит...

— Ну зачем ты!.. Ведь это не прошло. И не пройдет...

— Не люблю, когда так говорят. И голос деревянный. И не веришь ты, что сам говоришь. Вот сейчас головой замотаешь, а не веришь. Не люблю. Я ведь почему говорю? Я у мужа сегодня была... Я знаю, ты от самого дома хотел об этом спросить, только разговор не о том был, тебе неловко было. А ты ведь не забыл. Где-то у тебя остался вопросик-то? На веревочке... Все время висел. И это тоже — он а! Я ведь — «такая»... Ты мне веришь, а там, где вопросик, — и не веришь. Ты не думай, что вот у тебя «благородное чувство», так я изменюсь. А я и останусь такая. Хотя бы потому, что вопросик... И не потому. Так что же ты не спросишь, зачем я к мужу ходила?

— Мне не это важно. Я не потому...

— Важно, очень важно! Всем это важно... Я к нему пришла, и мы с ним уснули... Да, вместе. Ну что, милый? Глупенький... Да ведь я же ему жена. И мы не разведены еще. Ну что надулся? Поцеловать?

— Не надо.

— Ну что ты... Глупый... Ты не гнись. Все равно поцелую. Ну, сильный, сильный... вижу. А мы ведь просто так уснули. Ничего между нами не было. Уснули — и все. А ты мне поверь, поверь... Вот я тебя и поцеловала! Ну что ты такой? Ой, какой же ты смешной бываешь!.. Все не веришь?

— Верю.

— Не веришь... Господи, ну что же это я за дура!

Ты ведь все думаешь, почему я к нему пошла? А я так все рассказываю, словно ты знаешь. А ты не знаешь... Я ведь к нему пошла потому, что он у меня швейную машинку украл.

— (*Уже смеется.*) Машинку?

— Конечно. Я, ты знаешь, я думала, убью его. Для меня машинка — все, последнее. Это еще мамина машинка. Думала — убью... Прихожу — а он мне список показывает. Там все, что у него еще оставалось, и машинка моя в самом низу вписана. И против каждой вещи сумма стоит. И все сложено. Вот он мне показывает список, моргает и говорит: «А я все продал». — «И машинку?» — говорю я. «И машинку». Я ему говорю, деньги-то хоть отдай! А он говорит: «А у меня их нет... Я, — говорит, — четыре столика на Новый год в «Астории» заказал. Проститься... Придешь?» Стоит, моргает. И вот думала, что убью, а вдруг мне так жалко его стало. Я плачу, а он — тихий... Вот ведь — и ему досталось...

— И ты пойдешь?

— Куда?

— В «Асторию»? К этому...

— Он так меня просил... Какая ты красивая, говорит. Ты не думай, я-то его штучки знаю... Неужели, говорит, ты все еще с этим сосунком? (*Берет его за руку.*) Ты не сердись, это он про тебя. Он ведь нас однажды видел. На Аничковом мосту, помнишь? Я тебе показывала... А я ему сказала, что он и мизинца твоего не стоит. Нет, правда, так и сказала. А нам ведь некуда идти? Ты не думай, я ведь тебя люблю, так что ничего быть не может... Но ведь Новый год!.. Люди, праздник... А нам с тобой ведь некуда?

— Я же тебе предлагал... У Фриша собираются...

— Не пойду я к твоему Фришу! Не хочу их видеть!.. Слюнтяи. Я знаю их насквозь. Они этого не любят. Не хочу, чтобы они на меня так смотрели...

— Ну тогда пойдем в ресторан...

— В ресторан?.. А ты знаешь хоть, когда он, Новый год? По-сле-зав-тра! Ну в какой ресторан ты сейчас пойдешь? В любой сарай — уже поздно...

— Куда-нибудь попадем... Не останемся же на улице. Это ведь невозможно...

— Вот именно. Все так просто... А деньги откуда? Ты ведь уже когда взял на праздник!.. Их же нету. Они на меня пошли, конечно, и спасибо... но их же нету.

А в чем я пойду? О чем разговаривать... Не в чем мне идти. Ни с тобой, ни с ним...

— А зеленое?

— Не знаешь? А ведь, наверно, что тебе известно... В ломбарде. И 31-го срок. А ведь это единственное платье, в котором я еще хоть куда-то пойти могу. Ты ведь и это знаешь... Люблю... а вот ведь есть еще и платье! А ты ведь ничего, ничегошеньки не можешь. Даже не помнишь и не задумываешься для удобства — настолько не можешь. Люб-лю... а мне вот платье выкупить надо! Жизнь такая...

— Не надо! Только молчи... Я достану. Ты выкупишь...

— Прости, милый... я опять... я не хотела. Да и не в этом же дело! Я ведь и не хочу с тобой в ресторан-то ходить. Не с тобой это делать... Я с тобой дома хочу. Дома, понимаешь? Милый... ну чтоб мы были вдвоем, только вдвоем. И чтобы никто не мог прийти... чужой. Где он, дом?

— Достану! *(С отчаяньем.)* Достану я деньги!

— Ну где? Где, милый, ты их достанешь? Какой ты все-таки... Тебе ведь негде их достать... Ты понимаешь, «негде» — это ведь не только сегодня. Дело ведь не в этом. Мне ведь будет мало... Мне все равно будет мало — вот ведь ужас! Мне так хочется, например, летом с тобой на юг поехать. С тобой... Это уже не платье. Это-то невозможно?.. А я все равно ведь на юг поеду.

— И на юг мы поедem! *(Почти со злобой.)* Господи, неужели эти деньги... это такая ерунда! Ну если бы только деньги... Ну я работать пойду... Ну... достану наконец. Я знаю где. И ничего мне не будет. Десять тысяч по-старому — знаю где. И мы уедем. Этого же нам хватит. Даже на несколько месяцев хватит... Хватит, а? Хватит?!!

— Несколько?.. А потом? Нет, милый, нет. Ты прости меня. Ты не обращай внимания, когда я такая. Не слушай. Тут ведь столько подлого во мне — ты и не представляешь... Это проходит. Ты не слушай... Ну, конечно, любимый, мы будем вместе. Что нам юг?! Ты кончишь институт — я подожду — что такого — на пять лет старше — ведь пустяки — бывает жена и на десять старше — и ничего... Не расстраивайся, ну, хороший мой... стоит ли из-за меня... Я ведь счастлива, счастлива, что у меня — ты! Я ведь не знала этого... Я злая, прости...

Все будет хорошо. И Новый год справим, вдвоем справим! Я со зла сказала, а я уже договорилась: Нина уйдет в компанию, старик — тоже к каким-то знакомым пойдет... и мы останемся вдвоем... Я только на час, на один только часик в «Асторию» сбегаю — и вернусь... К тебе. Ну, не сердись, ну пожалуйста, я ведь обещала... Я все подготовлю дома к встрече до этого. И вернусь в одиннадцать...

Он возвращался домой, глупо улыбаясь. Уверенно ставил ногу, и снег поскрипывал под ней — уверенно. Фонари уже горели изредка, и прохожие попадались изредка, внимательные и торопящиеся. На Фонтанке было светлее, слева впереди грузно темнел Инженерный замок. На мосту же фонари были старинные, домиком, и Алексей почувствовал себя как бы в другом времени. И не в другом, — а словно бы идет он по этому мосту тыщу лет, идет и идет: справа впереди белеют черные деревья Летнего сада — и все никак до них не дойти.

На пустой и полутемной Садовой у остановки притормозил, словно присел, автобус с одним пассажиром. Алексей мог бы добежать и успеть, но не побежал, успевать не стал. Не спеша шел. Улыбался глупо. Хотя где-то, быть может, и понимал, что автобус, наверное, последний — и идти ему пешком до самого дома далеко. Но домой-то идти, обо всем забыв, — было куда лучше. Пахло морозом и мандариновыми корками — Новым годом.

На Кировском мосту его продуло. И он перестал улыбаться. Ругал себя, что давно был бы дома, — а вот не дома. И теперь уже автобусов не будет. И трамваев тоже. И тогда мама, платье, муж Аси, сессия — все это кружило над ним, мutilо душу — и Ася уходила.

Вдруг пробежала непонятная одна собака, вдвое длинней обычной, от фонаря к фонарю, — тень собаки; ноги, тени ног — много; деловито перебежала от фонаря к фонарю, — исчезла. Алексей рассмеялся.

И тогда подумал, что как же он так отвлекается и не чувствует уже так остро то, что должен и обязан чувствовать. Рад отвлечься на любую собаку. И почему он вообще так неостро и лениво чувствует, даже когда ему кажется, что остро. И думает тоже словно бы нехотя. Никакой в нем страстности...

И тогда он снова подумал о том, что полгода назад,

когда у них началось с Асей, все было иначе. Он тогда и маялся, и не верил, и вот-вот должен был узнать что-то, что от него скрывалось, вот-вот понять все и решить. Он и тогда ждал часами на лестницах и в подъездах и вроде видел, как Ася уходила с кем-то другим, и вот-вот все должно было стать ясно — и тогда конец. Только еще одно доказательство — и конец. Никогда он так напряженно и маятно не жил, как в то время. Он и не подозревал, что снова и снова можно чувствовать то же самое и опять то же самое, но все сильнее и сильнее; это ему даже странным казалось. А когда вроде бы и доказательство появилось и обольщаться больше нельзя было, когда все наконец стало ясно и надо было решать, он вдруг перестал видеть, замечать, следить, больше того, он стал *не* видеть, *не* замечать, *не* следить. Потому что, если раньше он все твердил себе, что любовь требует веры, то есть правды и ясности, и не терпит обмана, то теперь любовь становилась выше ясности, и в неведении, в отказе от выяснений заключалась теперь вера и продолжение или гибель — кто знает? — его любви.

Так он шел, так он думал или не думал, потому что уже в который раз приходили к нему эти мысли: остроты прозрения в этом не было. И никогда не позволял он себе дойти до логического конца, а начинал думать о чем-либо другом, не об этом, словно смазывал, стирал резинкой набросок мысли, так что и не понять и не вспомнить потом было... Так было, наверно, нужно, раз он хотел сохранить любовь, а средств для этого никаких не было, и мысль о необходимости какого бы то ни было дела, поступка, решения действием приводила лишь к ощущению дикой беспомощности и зависимости от всего, совершенно всего: родителей, института, жилплощади, денег, собственного иждивенства и мальчишества... Только к этому приводила, ни к чему другому, и все живое тогда помиралось в его душе, а дороже всего было это живое. Да и думать об этом значило начинать примерять эти мысли не только к прошлому, когда он хотел все вот-вот наконец узнать и решить, но и к сегодняшнему, — и тогда все рушилось. Потому что ничего ведь не изменилось за это время... Поэтому так думать он ни в коем случае не мог, он бросал мысль на полдороге — дальше яма, пропасть, шагать туда не хотелось, так уже привычен был механизм этой мысли и механизм ее

избегания, что и нельзя было уже говорить, что он так думал.

Он уже замерз. И тут, совершенно неожиданно, — автобус — казалось бы, их больше не должно быть, — и Алексей вскочил в него.

## ТРИДЦАТОГО ДЕКАБРЯ

Он мычал и не мог проснуться. Затем он мычал и не хотел проснуться. Затем он мычал и делал вид, что не проснулся. Над ним стояла мама и сдержанно, но твердо, в чем был огромный опыт и знание всего: как Алексей не умеет вставать, и как он прикидывается, чтобы не встать, и что он уже не спит, а только делает вид, и где он вчера был — над ним стояла мама и методично, словно опережая каждую возможную уловку или возражение... над ним стояла мама и говорила:

— Алексей, проснись. Ты вчера просил разбудить тебя в шесть. Алексей, ты уже проснулся. У тебя сегодня контрольная. Алексей, лучше встать сразу и не мучить ни себя, ни меня. Встань, как я тебя учила: сядь — и сразу ноги на пол.

Тут уже все безнадежно.

— Сейчас, мама... я уже проснулся... я уже больше не усну... я сейчас встану...

— Алексей! Открой глаза.

Надо хотя бы открыть глаза... Но их не открыть. Все-таки открыл. И тогда особенно понял, как хочет спать. словно они были полны песка, и сейчас, когда он раздвигал веки, песок зашевелился, заерзал под ними.

— Вот видишь... я открыл... я не сплю... сейчас встану...

— Алексей, я не обязана над тобой стоять.

Все было кончено. И он действительно проснулся. И действительно, сегодня надо переписать контрольную — последний срок. Он сел на кровати, сразу бодрый, не спавший, чуть заметно для себя дрожащий. Действительно, раз он так уж не готовился, надо успеть хотя бы написать «шпоры». Неосознанная и страшноватая ученическая боязнь и суэта возникла в нем и одновременно особая отличниковская старательность, хотя вот уж отличником он никогда не был... Так это все мелькало — мечталось, как он чудом, но все-таки подготовится и напишет на пять, будет допущен к экзаменам

и их тоже все сдаст на пять — подумать только... Все он делал очень споро, но в то же время как-то слишком тщательно и подробно и чистил зубы, и мыл шею, и грел завтрак, и пил чай. Там, где-то на доньшке, где у нас мотивировки и оправдания, это звучало так: излишняя поспешность только вредит делу, спешит медленно, главное — экономия движений и организация и так далее — та же отличниковская игра.

Возвращался в свою комнату, садился за стол, доставал конспект. Конспект этот он вымолил у Кошеницына — тот, конечно, все уже сдал раньше всех. Вымолил на один вечер, а держит уже третий день. А сегодня — уж точно придется отдать.

Раскрыл конспект, поругивая себя за потерянные три дня: вот когда бы он действительно все знал! — сладкое и лживое ощущение отличника снова забиралось в него, небольшое такое тщеславие. Аккуратно вырывал он чистый лист из чистой тетради — на таком хотелось писать чистым толковым почерком и отчеркивать карандашом поля (можно и простым), и нумеровать страницы, и составлять содержание, тетрадь окончив. Такая она толстая и красивая, и вся исписана — наслаждение и удовлетворение, груд и плод того же отличника... Тетради такой у него, конечно, не было, но чувство было, и поэтому он выстриг чрезвычайно аккуратные полоски для шпаргалок, много больше, чем успел бы написать и чем даже надо было.

За стеной скрипела кровать — садилась мама, шаркала шлепанцами к его двери — мама шла проверить, что за подозрительная тишина у сына, уж не спит ли... Сын успевал спрятать полоски и сосредоточиться над конспектом. Дверь отворилась, мама видела склоненную голову сына (сын не поворачивался к ней — это был пережим, но его не замечали ни он, ни она), некоторое удовлетворение появлялось на усталом мамином лице.

И мама ушла.

Все сразу разжалось в Алексее. (Больше ему не полагалось проверки.) Тело вдруг затеплилось, зацепело, до кончиков пальцев. Он взглянул в окно... Там было еще так безнадежно, по-зимнему темно: только болтается фонарь, высвечивая взад-вперед белую крышу заводского склада, и часовой топчется у гриба. И этой картине одиннадцать уже лет — и вот уже картину эту видит он давними, совсем детскими глазами, от этого



появляется ощущение не совсем еще забытого детского кошмара, который и до сих пор ему непонятен. Что-то странное начинает твориться с руками — они растут, разбухают, чужие, не свои, и что-то ужасное и непоправимое, неизвестно что произойдет сейчас с тобой. А фоном и местом действия кошмара — зимнее утро, школа, ранний туда приход, раздевалка, желтый гнойный свет и от этого грязновато-голубые стены, и тот же свет коридоров и классов, беспшумное всех движение, и учителя, как огромные тени этих коридоров...

Алексей смотрит на будильник — остается всего час. Не успеть — что-то сжимается от того же ученического страха. Он судорожно подвигает полоску шпоры, аккуратно выводит название темы и подчеркивает. И подтемы — и подчеркивает. Теперь уже надо выписывать из конспекта. Тетрадь толстеет на глазах. И тогда тошнота, безотчетное отчаяние подступают — он снова смотрит в окно: фонарь, гриб и неуклюжий, конусом, часовой, похожий на черного деда-мороза, — то же тепло и пепенение подбирается к Алексею — сон.

Он снова поймал себя на том, что идет в обход. Не по краткому пути: центральный вестибюль, картинная галерея, главная лестница, деканатский коридор, — а через столовую и химкорпус, с другого конца. Именно, чтобы не встретиться с кем-либо из преподавателей или из деканата. При этом мысль, что в этой-то каше перед началом сессии и не до него, таких много, была для него досужей. Даже если так — просто сталкиваться не хотелось.

Он только с некоторым удивлением замечал, что в начале года бодро ходил по главным путям и не тушевался у деканатской двери — тогда все еще было впереди и завтра он садился заниматься. Особому анализу он, впрочем, не предавался, идя в обход, это уже было не в первый раз, привычно.

Все уже почти были в сборе, в темном тупичке около аудитории. Гудели. Пока он всем пожал руки, тоже пришел в возбуждение, словно наэлектризовался. Все вели себя по-разному. Быченков, конечно же, ныл и недостоинно у каждого что-нибудь выпрашивал или договаривался, заручался, так сказать, с каждого, кто что может. Быченкова избегали, но он ловил, и те скучнели и соглашались. «И в результате ведь напишет...» — неприятно подумал Алексей. Кто-то суетливо шуршал

конспектом, отвернувшись к стенке, — последняя возможность. Это был Денисьев. «А этот не напишет», — подумал Алексей. И другой точно так же шуршал, Фроленко, Хроленко, как его звали, но: «Напишет», — подумал Алексей. Еще двое были бодрее всех, стояли у самых дверей, ждали впуска, это, так сказать, центрфорварды во всем, дружные ребята, сачки, но успевают всюду — эти напишут. Что-то очень унижительное почувствовал вдруг Алексей в этом трепете перед дверьми. Но тут же постарался прогнать это ощущение — засуетился со всеми.

То есть он стал по очереди у всех заручаться шпорами — безнадежное дело. Во-первых, все они были уже «забиты». Во-вторых, все что-нибудь уже имели к контрольной — только он не имел. От этого становилось плохо: казалось, все напишут — только он не напишет. Оставался Мишка, лучший приятель, но у него и самого наверняка ничего нет. На всякий случай, подошел и к нему. Оказалось, и у него были. Никого теперь не было такого же, как он... И даже тут — в который раз! — подлетел Быченков и заскулил: «Я уже за Мишкой забил...» «Я думал, ты не придешь...» — сказал Мишка. «Что ты их солить собираешься?» — зло сказал Алексей Быченкову, но отворилась дверь, в дверях — доцент Вершинин, все ринулись. Набились в три задних ряда, как селетки. «Мальчишество, глупость», — думал Алексей, толкаясь и пихаясь со всеми и занимая последний краешек последнего сиденья, — все равно ведь сгонят...»

— Что за детский сад! — сказала ассистентка Большинцова. «И она тут... их двое, — удрученно подумал Алексей, — а я и не заметил». — Что за детский сад! — сказала она. — Аудитория специально большая... По два человека — за стол.

Все давились со щенячьим замиранием и не трогались с места. Это относилось ко всем, но не к каждому.

— Это ко всем относится! — сказала ассистентка. — Ну же.

Это выглядело глупо, ассистентка была интересная женщина, и Алексею стало неловко. «Безнадежное же дело, — подумал он, — ну что за щенячество!» И встал чуть ли не первым.

— Проходите вперед, не стесняйтесь, — сказала ему ассистентка.

Вершинин кончил разбирать билетки и разносил их 145

по столам. Алексей сидел один, впереди всех, вертел свой билетик. Обернулся: центр-форварды сидели лучше всех, в конце у стены; Быченков тоже сидел неплохо. На всех лицах была уже серьезность — контрольный азарт — лица выглядели нездоровыми. Каждый впивался в свою бумажку, чуть не выхватывал ее из рук Вершинина. Вершинин же отдавал их не спеша, словно взвешивая и не сбиваясь со счета. И вот уже все оделены.

Алексей совершенно не узнавал свою функцию, нарисованную на бумажке. Он даже не пытался напрячься, такая она была незнакомая. Обернулся назади сидящих. Все, все что-то писали — так казалось. Нагло шпорили центр-форварды. По проходу ходила ассистентка, встретила с Алексеем взглядом — пришлось отвернуться, чтобы не спросила: «Вам что-нибудь надо?» — и вообще не надо мозолить. Нарисовал крендель, в нем другой. Ассистентка подсела к Вершинину, зашептались. Вот он, момент! Сердце стучит на всю аудиторию. Алексей с замиранием, тихо тянет из-под свитера конспект Кошеницына. Конспект там нагрелся, теплый... И вот — тетрадь на коленях. Теперь надо... Алексей косится одним глазом — ничего, разговаривают Вершинин с Большинцовым, не смотрят. Теперь осталось только найти в конспекте, что ему надо. А что ему надо? Алексей крутит под столом страницы — ничего не узнает. Страницы гремят. Будто он идет по крыше — такое ощущение: и грохоту много и упасть можно. Алексей косится на Большинцова: не слышит ли та этот грохот, — Большинцова косится на Алексея, словно слышит. В испуге он судорожно запикивает конспект как можно глубже в стол, так что теперь ему до него и не дотянуться. Вдыхает освобожденно. К черту!

Отдохнув, Алексей обернулся: невообразимая деятельность протекала всюду. «Неужто они не замечают? — как обычно удивился он. — Опытные же ведь люди... Не хотят, — подумал он. — Но тогда почему же они все-таки иных ловят? Меня, например, поймали бы с охотой... Жертвы, — ответил он себе, — жертвы для остратки. А всех нельзя. Кто же тогда учиться будет?» — Кренделей было уже много. — «Взять вот, вывести функцию кренделя — и сдать... Хулиган, скажут, но какие способности!» Вершинин с ассистенткой беседовали, ассистентка тихо и мелодично посмеивалась.

146 Алексей обернулся: те же деловые склоненные головы,

судорожные ужимки со шпорами, никто ни на кого не смотрит, центр-форварды строчат и Быченков строчит!.. Никому ни до кого нет дела. Вот только что и поймал растерянный взгляд Денисьева, сделал ему какой-то знак, и сам бы не понял какой и зачем; Денисьев сделал жалобное лицо, мол, сам ни черта не знаю, — каждый сделает такое лицо, даже если и знает, чтобы отвязаться, чтобы зря не рисковать... Противно. «Каждый за себя, каждый за себя... — вырисовывал крендели Алексей. — Все немножко Быченковы...» Вот если бы сидел поближе Быченков, Алексей бы хоть немного развлекся: пообращивался бы к нему, попугал, посмотрел бы, как бы тот стал отмахиваться и шипеть и какое жалобное пополам с ненавистью было бы тогда у Быченкова лицо. Это его немного развлекло, такое представление. Вот уж кто никогда не поможет! Еще Алексей помечтал о том, как он вдруг знает каждый предмет лучше любого преподавателя по этому каждому предмету и на экзаменах всех сажает в лужу, не всех, а тех, кого не любит, тем же, кого уважает, просто отвечает так блестяще, так блестяще, что ему в ведомость ставят пять с пятью плюсами, а оригиналы даже шесть ему ставят... Но тут уже кто-то первый сдает работу, и второй. «Вот ведь сволочи! — думает Алексей. — Что за отличниковская прыть! Первый — не первый — что за удовольствие такое! Написал — помоги соседу. До контрольной сами небось так говорили — а теперь несут. Эдакая подобранность и серьезность на лицах... Или: раз уж написали и не засыпались, то зачем же засыпаться, помогая? Боятся: еще и поэтому спешат сдать. И центр-форварды, и Быченков... Даже Денисьев и Мишка что-то строчат поспешно — дождались, значит. Хоть бы кто спросил его: может, помочь? Все же проходят мимо, сдавая работы...» Один из центр-форвардов, правда, спросил, но таким уж шепотом, чуть ли не нарочно громким, чтобы заметили и прогнали (а работу он уже сдал, так что ему ничего) и такое при этом было у него лицо, заранее испуганное, только ждущее, чтобы ему ответили: «Нет, ничего не надо», что Алексей только рукой махнул: проходи, мол, проходи... Хорошие все-таки ребята эти центр-форварды, лучше других. Самые-то лучшие сами сейчас заваливаются... Алексей сложил свой листок кренделями внутрь, написал и сдал. Положил в стопку — вышел.

— Ну как, Леха? Ну как? — набросились на него центр-форварды.

— Да никак, — небрежно сказал Алексей.

— Что же ты, что же ты?! — зашептали они. — Там же всего четыре варианта было, мы установили. У нас ответы на все есть. Мы бы переслали...

— А-а, — неопределенно сказал Алексей и пошел.

— Ты совсем уходишь, а? — слышал он, но его уже не было. Тем же кружным путем спустился он в подвал раздевалки. Раздевалка была пуста, он вошел туда пригнув голову, отчего у него всегда появлялось ощущение, что он очень высокий, хотя просто проход был очень низкий. Две раздевальщицы переговаривались, перегнувшись в своих окошках. Радио пело песню «Когда я на почте...», это была обожаемая в детстве песня, и он еще не успел ее до конца разлюбить. Тут было тепло и уютно. Тускло светили лампочки. Толстые, мохнатые, теплые на вид трубы тянулись по стенам. Он подал номерок. Раздевальщица была молода и ничего себе, что-то и еще особенное было в ее лице, чуть развратное, что ли, или так она на него взглянула, или такой был теплый полутемный подвал — очень сладкое и тоже школьное ощущение, только теперь он в другом качестве, знает, что это такое. Он смотрел ей вслед, пока она, покачиваясь — все на ней в обтяжку, — шла между вешалками и пока возвращалась, и глядя и не глядя на него, не зазывая и не отталкивая. Все это сильно подействовало на Алексея. Особенно, что взгляд ее и призыв был не до конца — это действовало еще сильнее. Ему хотелось взять ее за руку или потрепать по щеке или задеть словно бы случайно грудь, но он не сделал этого и ничего не сказал — оделся и ушел.

Зажмурился от света — вот ведь уже и светло! — вдохнул полной грудью и оказался на свободе.

Не было двенадцати, а он был уже дома. Никого, кроме Пелагеи Павловны, не было. С детства он любил, когда никого не оставалось. Он бродил тогда по комнатам, совал свой нос в шкафы и столы, варил себе чай и пил его через макаронину, читал — лежа. Потом — приходили. И это было хорошо, что уроки кончались раньше работы. Два часа свободы. В распорядке дня.

Пелагея Павловна обрадовалась, что пришел Алек-

сей и кто-то теперь есть, кроме нее, в квартире, и, обрадовавшись этому, ушла на рынок. Это было еще лучше для Алексея. Он закрыл за ней на крючок, так что теперь никто не мог бы войти с ключом, надо было звонить. Так делалось, когда оставался только кто-нибудь один. Ввела это Пелагея Павловна, ссылаясь на глухоту.

Алексей достал из холодильника замечательный теткин пащтет, сделал себе бутерброд и все прилежно расставил по своим местам — сработал под Пелагею. Укусив бутерброд, он прошел в теткину комнату. Окна выходили во двор, и комната была сумрачная. До сих пор многое в ней Алексей видел глазами детства. И теперь ему до некоторой степени семь лет, когда он входит сюда. Словно входит он, несмотря на запреты, захлебываясь от собственной смелости. И видит, всегда первое, что он видит, — эту желтую Венеру, такую голую и безрукую. А потом — рояль, книги. Но теперь это было только чуть-чуть. Венера теперь была, очевидно, гипсовая, а сам он, очевидно, к ней равнодушен.

Алексей просмотрел стопку книг на рояле, торкнул пальцем в клавиши. Звук вытянулся по комнате и растаял, словно бы в сумраке. Доел бутерброд, обтер руки о попону рояля — полез в буфет. Достал початую бутылку кагора — примерился и отхлебнул, пристально взглянул на уровень — отхлебнул еще. Поставил на место. Все это он заел ложкой варенья. Варенье было свежее, не засахарившееся — сплылось сразу, словно и не ел. Опять же все расставив по местам, как и было, достал из-за трюмо теткину записку — вскрытую пачку «Любительских» — закурил. Сел за теткин стол. Стол был старинный — огромный, с массой ящичков. Он не стал сразу их открывать, а сначала осмотрел сам стол, его поверхность. Тут было много достопримечательного, и во всех этих ножичках, стаканчиках, календарчиках он узнавал старых детских знакомых. Тут лежали какие-то бумаги — в основном протоколы заседаний кафедры, — они его не заинтересовали. Прочел довольно свежее письмо от какой-то восторженной Туси, совсем уже старушки, по-видимому, письмо предназначалось Кисе, то есть тетке. Помнит ли та, как они вместе и т. д. Становилось немножко стыдно: так давно это было, — Алексей почти понял, что не надо было его читать, и он сказал: «Действительно, запомнить трудно...» — ухмыльнулся для бодрости, но письмо отложил. Ключи от стола

лежали все в том же стаканчике. Он отпирал ящики по очереди. Тут мало что переменялось за последние годы, можно сказать, ничего. Все оставалось в том же безукоризненном порядке и на тех же местах. В ящиках по-прежнему хранилась память, и ее в них не прибавилось за эти годы. Он узнавал и эту стопку фотографий и ту, и связки писем — те же. Жизнь этих ящиков остановилась слишком давно. Это было грустно видеть. Живым казался только один ящик, самый большой, центральный. Он и тогда был живым. Он действовал по сей день. В нем сосредоточились текущие дела. Из одиннадцати ящиков стола они помещались в одном. Но и тут попадались вещи старые, просто тетка ими еще пользовалась. Книга расходов, например. И адресов с телефонами. Потом опять письма, довольно немного. Списки каких-то товарищей. Билет в лекторий. Еще что-то. Несколько футляров с авторучками и карандашами. Клубок штопки. Пухлый блокнот — делегату чего-то, совсем непочатый. Записная книжка. Там, среди прочих записей, Алексей натолкнулся на список облигаций трехпроцентного (золотого) займа. Список был очень велик. Но в этом ящике Алексей обнаружил всего две облигации, больше не было. В списке эти две не значились. Значит, остальные хранились где-то в другом ящике. Алексей снова аккуратно пересмотрел все ящики, но облигаций — это должна была быть толстая пачка — не обнаружил. Он ясно представлял, какая должна была быть эта пачка, завернутая, перевязанная ленточкой и под ленточкой, картонка и теткой рукой написано «3% (золотой)». Алексей так это ясно себе представил, что ему даже показалось, что он уже видел эту пачку сегодня, и старался вспомнить, в каком же ящике видел. Но вскоре понял, что ищет зря, а, кроме стола, хоть убей, не мог представить, где бы тетка их хранила... Он привел все в прежний порядок, взял из среднего ящика те две облигации и остановился в раздумье. Они были гладкие, ровные, зеленые, и как-то сгибать их не хотелось. Взгляд его остановился на ночном столике — там лежал обширный атлас мира. Алексей заложил облигации в какую-то Африку и вышел с атласом из комнаты.

Выйдя, он быстро, но не суматошно прошел в комнату Трефилова. Там он ничего не осматривал, сразу подошел к письменному столу и, хотя не знал, где что лежит,

как-то удивительно скоро угадал место, где лежали облигации, вытащил из середины пачки одну и заложил в тот же атлас, к первым двум.

Сердце его колотилось — он внезапно заметил это, когда уже вышел от Трефилова и шел по коридору. Он подошел к входной двери и снял крюк. Тупо постоял в прихожей и прошел в мамину комнату.

В комнате был необыкновенный запах, и Алексей словно бы не сразу узнал комнату. Прислонившись к стене, стояла елка. «Ну да, елка... — сообразил он. — Новый год же». Елка была очень хороша. «Вчера ее еще не было, — вспомнил Алексей. — Когда же они успели ее притащить?»

Он сел в кресло напротив, положил атлас на колени и стал смотреть на елку в ожидании Пелагеи.

«Где они достали такую прекрасную елку?»

В сберкассе ему было труднее. Он, в общем, не знал, какие там порядки. На всякий случай прихватил паспорт. Народу было немного. Очереди было две. Спросить, куда следует встать, он почему-то не смог и встал в ту, что покороче.

Люди приходили и уходили. Дверь хлопала за ними.

И вдруг запахнулась с особым грохотом. Вошли двое. Небритые, в ватниках и сапогах, с полевыми сумками. Ни на кого не глядя, молча прошли в угол, вытащили два кресла, составили их корытцем, подвинули к креслам два стула и сели, — по-прежнему какие-то удивительно отдельные от всех. Они трясли свои сумки над креслами — из сумок сыпались скомканные шариком деньги. Сыпались, сыпались — целая гора. Все-таки высыпав, они тщательно смотрели в сумки, как в подзорные трубы, — но в сумках и действительно ничегошеньки не осталось.

Потом они разглаживали бумажки и складывали пачками: трешки — к трешкам, рубли — к рублям.

Эти необыкновенные люди нравились Алексею. У него мелькали всякие картинки вроде таких, что у них по кольцу на боку и вот они достают эти кольца — все поднимают руки, а они двое чистят кассу...

Очередь была хоть и короткая, но не та. И Алексей, рассердившись, перешел в хвост той, что подлиннее... Тут он заметил в руках впереди стоящих облигации и обозлился еще больше: как он сразу не заметил!



Те двое все гладили и считали деньги — Алексей снова успокоился, глядя на них. Так он спокойно стоял в очереди и уже был у самого окошка, как те двое вдруг заговорили, не разобравшись, что, и стали складывать деньги обратно в сумки.

Сложили — и ушли. По-прежнему никакого отношения ни к чему не имея.

«Ничего не понимаю», — подумал Алексей, но застучала по стеклу сердитая кассирша. И действительно, очередь была Алексея.

Краснея, он сунул в окно облигации.

Дальше все произошло как бы мгновенно.

Какая-то старушенция дала ему шестьдесят рублей. И паспорта у него не спросили.

...Дома Алексей ждал звонка. Ася не звонила. Это дьявольское неудобство, думал Алексей, когда у человека нет телефона!

Ася позвонила только в одиннадцатом часу. Сказала, чтобы приходил завтра с утра. А что ее сегодня не было? Все бегала, бегала...

Перед сном он читал «Моби Дика».

## ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ

Все было очень хорошо. Дверь открыла сама Ася. Была она в пальто, но еще не застегнутом, под пальто, — тот же халатик. Она обрадовалась, чмокнула его в щеку.

— Вот и хорошо, милый. Вот спасибо, что пришел. Ты всегда такой точный — просто прелесть. Не то, что я. А я, понимаешь, очередь в парикмахерской держу... — Она улыбнулась. — Тут, напротив. Ведь мы же сегодня с тобой встречаем. — (Она сделала ударение на «тобой» и замечательно на него взглянула) — Я должна быть красивой.

Она улыбалась. Алексей таял. Вокруг светлело, и что-то взлетало в нем, как стая. Он взял ее за руку, потянул к себе.

— Не надо, Алеша... Не дразни... Сейчас мы в парикмахерскую пойдем. Ладно?

Алексей сразу выпустил Асю, но был счастлив.

— А я деньги достал...

— Да?.. — почти равнодушно сказала Ася.

— Вот.

— Так много? — сказала она так же спокойно, Алексей был немножко разочарован и в то же время благодарен ей за то, что она не вскрикнула, не затормошилась. — Откуда у тебя?

— Достал, — важно сказал Алексей.

Ася словно бы отсутствовала.

— Вот и хорошо, — сказала она после паузы. — Дай мне на ломбард. И десятку на встречу — я всего куплю. Нам ведь хватит десятки?.. Ну что, пошли? А то у меня очередь.

Они спустились на улицу, и Алексей удивился, какая замечательная погода. Словно за городом, всюду был снег редкой белизны. И дома заиндевели. И эта старая улица с небольшими, темными уже зданиями была очень хороша. Город был непохож на себя, плавный и мягкий. Не этот город. Вот всегда, подумал он, я замечаю красоту, когда рядом Ася, хотя бы она и не замечала. А так ведь и не вспомнить, чтобы я один увидел город, или сад, или погоду, или небо. Небо тоже было удивительное — белое, близкое и мягкое, но одновременно — светлое.

И все это — только улицу перейти — и парикмахерская. Ася оставила его у дверей, сама вошла. В открывшуюся на секунду дверь он увидел, что узенький зал ожидания — битком, и все женщины там стоят в расстегнутых пальто; полутемно, а за фанеркой — яркий свет. Ася тут же выскочила, тоже расстегнутая, и сказала:

— Подвинулась, но еще далеко. Тебе нет смысла ждать.

— Да нет, — сказал Алексей. — Я подожду.

— Ты лучше купи вина, а то я и не успею — столько дел.

— Ладно, — сказал Алексей. — Иди, замерзнешь.

— А потом сюда приходи, слышишь?

В магазинах было не продохнуть. Он входил, видел толпу и отчаивался. Так он заходил в несколько. Наконец понял, что только теряет время и нигде меньше не будет. И все-таки снова вышел из магазина. И тогда, свернув в нелепый закоулок, заметил погреб и нырнул туда. Тут были только мужики, в большинстве пьяные. Тут же и пили, бродили со стаканами. «Вот ты погоди, — говорили они, — вот ты погоди». Их было много, но очередь двигалась быстро, и Алексей достал все, что

надо. «Купил, значит», — сказал ему небритый папаша и ласково посмотрел. «Да вот купил», — ответил Алексей, пряча бутылки. «Вот и молодец». — «Да уж», — смутился Алексей. «Папу не обижай», — сказал папаша.

Все было хорошо. Алексей вернулся к парикмахерской. Помедлил, но прошел. Он обвел растерянно взглядом толпу женщин. Все на него смотрели, но Аси среди них не было. Все были очень простые, чуть ли не все в халатах и платках, не такие таинственные, как на улице. Рассматривали Алексея и вроде бы и не рассматривали в то же время. Алексей смутился.

— Ушла твоя уже, ушла, — звонко сказала одна, он не очень понял которая, по-видимому, вон та, круглая. Все засмеялись. Алексей тоже. И тут было тепло и уютно, хотя и тесно. И Алексею стало хорошо от этого слова «твоя», «твоя ушла». Уютно оттого, что праздник, подумал он; понял, что все стоит и стоит, а надо уходить, еще больше смутился. Увидел телефон-автомат.

— А мне позвонить... — сказал он.

Девушка, заслонявшая автомат, отошла. Была она строгая и красивая и отошла, не меняясь в лице, такая же надменная. Он набирал неведомый номер, посматривал на девушку. А интересно, когда она любит, то она, конечно же, не такая? Может, она потому и такая, чтобы каждому было интересно, а какая же она, когда любит? По телефону его обругали, и он вышел, стараясь не поймать ничего взгляда, быть может, насмешливого.

Он ждал, что откроет Ася, она уже дома, но открыл Сергей Владимирович. Он был необыкновенно симпатичен, прям и свеж, улыбался.

— Алеша? Здравствуй, проходи. С наступающим!

И это было хорошо. Так приятно, когда с охотой можно ответить:

— Вас также. С наступающим!

Алексей прошел в комнату первым, они еще помялись в дверях с Сергеем Владимировичем, но тот настоял, и Алексей прошел первым. В комнате никого не было. Алексей сразу сообразил, что Ася на кухне. Комната была та же, но вроде и другая. Алексея всегда удивляло, как та же самая комната может быть и другой. Конечно, тут и приборка много значит. Тот же колюче-ногий стол, и те же три, в общем, железных кровати, и тот же комод, когда-то красного дерева, и те же, уже никакие, обои — все это сегодня было как нельзя на

месте, и то, что комната была в целом пустая, — тоже было как-то кстати. В ней даже было как-то светлее, вернее, полумрак был словно бы чище и теплее, да и было теплее; печка была вытоплена нескупо. И Сергей Владимирович сегодня хорошо подходил к этой обстановке. Скорее, что это праздник, подумал Алексей, вошел всюду...

— Садись, — сказал Сергей Владимирович, снимая со стола ботинок, и растерянно при этом улыбнулся.

— А где Ася? — спросил все-таки Алексей.

— Не приходила еще. Да придет она сейчас, не беспокойся. Не сейчас, так скоро.

«Ну да, она, наверно, была в зале, — сказал себе Алексей, — а я не посмотрел».

Сергей Владимирович бывал временами очень славным стариком. Тогда особенно становилась заметной его незаурядная внешность. «Порода, — говорил он. — Я очень похож на Бунина, не правда ли?» Бедность костюма все это в нем подчеркивала. У него был черный такой самосшитый френч с черными пуговицами. Френч был плотен, как пальто. По-видимому, он и был когда-то пальто. Это было удобно: не требовалось ни рубашки, ни галстука. Когда Сергей Владимирович становился чопорен, френч выглядел на нем жалковато. Сегодня же Сергей Владимирович не был чопорен. Он, перекачывая свое замечательное «р», рассказывал, как был корнетом или юнкером или что-то в этом роде, то есть учился на офицера, и как они тогда холостой компанией в тройках закатывались к цыганкам, как все это было здорово: и снег и шампанское; доставал желтую фотографию виллы в Крыму и такую же первой жены, первой красавицы; и до того это было уже все известно Алексею, что даже казалось странным, что ничего-то больше Сергей Владимирович не запомнил... Всегда одно и то же, и всегда словно бы сам себе не верит: да было ли это?.. — и поэтому повторяет и повторяет, как бы настаивает. Да было ли это? — вдруг растерянно морщит лоб, словно отвечает себе: «А что? Может быть. Может быть, и не было. Все может быть...» И замолкает вдруг, пенадолго, правда, и лицо его огорчается. «Как в пьесе, — думал Алексей. — Он как в пьесе...»

Потом они попили чаю. Сергей Владимирович доставал вонючий рокфор — «Кар-р-рплетками пахнет!» — говорил он и смеялся — они пили чай с рокфором. Потом

даже рюмку ликеру поднес Сергей Владимирович Алексею. Ликер был ужасный, мятный, что ли. А Ася все не шла.

Сергей Владимирович вспоминал уже о том, сколько что стоило.

Ася все не шла. Алексей уже думал так: она же велела прийти к парикмахерской... и вот она вышла, а его там нет. Он елозил, слушать ему становилось трудно, а Сергей Владимирович доставал шахматы — их Алексей терпеть не мог. Алексею казалось, что сильно стемнело, хотя темнеть еще было рано; комната становилась чужой.

Тут отворилась дверь, они обернулись... Комната была длинной, окна и дверь были в разных концах, и до двери свет окна, и так слабый, еле уже доходил — так что было не понять, что там в дверях происходит. В комнату входила большая елка. Потом уже Алексей увидел за елкой Асю, бросился помогать. Елка колосась, ветка заползала в глаз, он смеялся, облегченный, с елкой в руках. И смеялась Ася.

Сергей Владимирович извлек откуда-то пыльный елочкин крест. Алексей закрепил елку, все втроем понесли они ее по четырем углам, пока не отыскали один из четырех. Алексей отошел от елки, необыкновенно возбужденный, и все сжимал и разжимал смолистые свои ладони, они склеивались и расклеивались.

— Надо бежать, надо бежать, — сказала Ася.

— Куда?

— В ломбард, уже совсем мало времени.

Алексей почему-то удивился, ломбард казался ему само собой прошедшим.

— Ты меня проводишь? — сказала Ася. Лицо у нее было рассеянным. — Или, может, тут подождешь?

— Конечно, — сказал Алексей, — провожу.

— Смотри. А то, как хочешь. Я могу и сама...

Алексей уже одевался.

— Оставайся, Алеша, — просил Сергей Владимирович. — Партию доиграем.

— Потом доиграем, — сказал Алексей.

До ломбарда было три или четыре остановки, и они их доехали. Ася была как-то сосредоточена и поддакивала Алексею через раз.

Перед ними оказалась площадь. Собор и сад перед собором. Метро. За ним рынок. Его не было видно, но

он как-то ощущался. Там же, где они сейчас находились, сторона была темная, из жилых домов, и тут же находился ломбард. Он был как-то скрыт, спрятан. Ася сказала, надо проходить во двор и еще подниматься по лестнице, но сейчас, когда Ася почему-то остановилась перед домом, Алексей ощущал ломбард так же, ну вроде как рынок за собором.

— Ты тут подожди, я схожу одна, — сказала Ася.

Алексею показалось, что стесняться тут нечего, могли бы они и вместе пойти туда, но по характеру своему он не вмешивался, когда его не просили, и остался стоять; Ася же ушла в подворотню. Почему-то его очень разволновало, как она туда уходила.

Ее долго не было. Место для ожидания было неудобное, на самом людском потоке. Он выбрал между троллейбусной и автобусной остановкой, между двумя очередями, — там и встал. Времени прошло пятнадцать, двадцать, полчаса. Тогда Алексей тоже прошел в подворотню. Поднимаясь по лестнице, ориентируясь по расплывшимся уже стрелкам на облупленных стенах, он представлял себе, какой ломбард (в ломбарде он раньше не бывал), и получалось что-то вроде сегодняшней парикмахерской. Он раскрыл дверь, она хлопнула за ним с ржавым писком — и очутился в загнавшемся коридоре. От дверей еще ничего не было видно, только свет в конце. Он пошел, и когда поворот открылся ему полностью, увидел очередь. Ломбард в конце концов на парикмахерскую не был похож, а скорее на прачечную. Алексей искал глазами Асю и не находил. Как вдруг кто-то тронул его за локоть с другой стороны, чем он смотрел.

— Отойдем, — шепнула Ася.

Они отошли немного от толпы, и Ася сказала:

— Тут еще не так скоро. Может, ты домой пойдешь? Правда, не стоит меня ждать. Ты иди и приходи в одиннадцать, ладно?

Взгляд ее был рассеян. Люди стояли, казалось, молча. Свет был неприятен, слабый, неживой. А главное, коридор, который гнулся не под прямым углом, а изгибался, эта кишка, темная с входа и светлая в другом конце... Алексею было немного не по себе. Воздух тоже...

— Ладно, я подожду на улице, — сказал он.

Ася вроде бы отряхнулась, взгляд ее сосредоточился на Алексее, потеплел:

— Глупый, ты иди прямо домой, не жди,— и она чмокнула его в щеку.

Спускаясь, Алексей на темной лестнице столкнулся с человеком, несколько странно на него взглянувшим и поэтому сразу показавшимся знакомым. Алексей все вспоминал его, спускаясь дальше и выходя во двор и на улицу, но не мог вспомнить. Ему стало казаться, что это Асин муж, но он не был уверен, потому что не разглядел толком его в тот единственный раз, что видел, да и этого, на лестнице, не разглядел. Тем не менее все тревожней ему становилось, он поэтому не уходил — ждал, хотя и не поднимался в ломбард проверить: получилось бы, что он следит, а ведь это не так. Через полчаса он не выдержал и медленно, но начал проходить во двор и подниматься. Дверь он открыл и прошел по изогнутому коридору, но там уже никого вообще не было, и только одна женщина что-то запирала.

— Закрыто, закрыто,— сказала она.— С Новым годом!

— Вас также,— пробормотал Алексей и стал спускаться. Спускался — и вдруг сзади кто-то напрыгнул, засмеялся — Ася!

— Вот и все! — говорила она.— Вот и все! — Она достала из сумки платье и показала ему.— Оно самое. Знаешь, как оно всем там понравилось! Даже оценщица просила меня его ей продать... Милый, все ждал?..

Алексей уже больше не волновался, постарался забыть все непонятное и вопросов не задавал. Когда они встретились, все уже стало нормальным...

— Ну, а теперь я тебя посажу,— говорила Ася, когда они оказались на улице,— и ты поедешь домой.— На улице было уже совсем темно. «Рано темнеет,— подумал Алексей.— Самые длинные ночи в году сейчас».

— Я тебя посажу, и ты поедешь. Мне еще надо всего купить и приготовить и самой приготовиться. Ты мне будешь только мешать. Поезжай и надень свой серый костюм. Я хочу, чтобы ты был красивый...

Автобус отъезжал. Ася осталась на остановке с поднятой рукой. Алексей все смотрел в заднее стекло, Ася удалялась, и он увидел какую-то темную фигуру, тень рядом с ней. «Собор,— подумал он,— или кто-то встал в очередь». Эта тень растревожила его.

Потом автобус подъезжал все ближе к дому, и что-то все больше сковывалось в Алексее и сжималось. Это

стало еще сильнее, когда он сошел на своей остановке, и чем ближе подходил к дому, тем словно бы тяжелее становилось идти, и он шел все медленнее. Было как в детском кошмаре, страшно, но не понять, что страшно, и от этого — страшнее. Вообще в последнее время ему трудно бывало возвращаться домой, вернее, труден был самый первый момент: открыть дверь, выдержать первые взгляды и приветствия, неизвестно, начнут ли что-нибудь расспрашивать и не придется ли врать... так стало, как появилась Ася. Но сегодня было и еще... сегодня было неприятнее, чем всегда, и Алексей не мог понять почему. Он даже знал, в чем дело, даже вспомнил, как увидел вдруг елку в маминой комнате... Вчера... но это было запихнуто где-то так далеко, подумать об этом было столь уже страшно, что ему легче было не понимать, в чем дело, чем думать об этом. Он старался не осознавать своего предчувствия, и это ему удавалось. Но то, что на этот раз страх был как-то сильнее, что это было уже предчувствие, а не только ощущение, следует отметить. Предчувствие чего-то непоправимого.

Дома же было хлопотно и тоже тепло. Елка в маминей комнате была уже убрана и при электрическом свете не была такой таинственной, как тогда, когда он увидел ее впервые. 31-е было действительно особенное число, потому что того холода и строгих лиц, которые с некоторого времени только и видел Алексей, не было. Мама ничего ему не сказала и не расспрашивала, была весела и как будто забот у нее не было. Она поцеловала Алексея в лоб и вручила ему коробку: «Хоть ты и не заслужил», — улыбаясь, сказала она. Алексей так обрадовался отсутствию холода в доме, что ему не надо скрываться и сжиматься, что вдруг снова почувствовал себя младше на полгода, то есть очень младше: младше на целую жизнь, младше на Асю. Понял, что очень любит маму и дом, обнял маму, расцеловал; мама как-то обмякла в его руках; он внезапно почувствовал, какая она маленькая, худенькая, и еще что-то одно поразило его в этом приливе нежности. Он понял вдруг, что вот уже полгода он не подходил так к маме, не обнимал ее и не целовал, это как-то отпало, исчезло — и это тоже была Ася. Он чувствовал неловкость в руках, когда сейчас вот обнимал маму. И еще его удивило, как же он



не заметил этого раньше, ведь до Аси у них с мамой была такая любовь! — и ведь, наверно, очень резко прервались вот эти нежности с мамой, так что мама не могла не заметить... Но он вот ни разу не почувствовал, что она это заметила. Он еще подумал, что все эти полгода ничего нет в его памяти из жизни дома, все — Ася, и это, наверно, жестоко и несправедливо с его стороны. Ему было и неловко, даже, может быть, стыдно перед мамой, но во всем этом приливе чувств прежде всего его не покидало чувство неловкости в руках, обнимающих маму, они просто были деревянные какие-то, в них не было тепла, объятие казалось потому — неправдой, чем-то стыдным и даже подлым. И еще неловче было оттого, что у мамы, он чувствовал это, такого не было. У мамы сейчас все было по-старому, как прежде, и, наверно, даже сильнее, как у соскучившегося человека. Все было так, и поэтому Алексей первый отстранился от мамы, и тогда увидел такие счастливые и грустные глаза, что хоть плачь. Он вдруг ощутил такую беспомощность, что поспешил уйти к себе.

Он думал о том, что, конечно, никогда они с мамой не станут чужими, многое образуется и вернется, но... Ему стало грустно по-настоящему, но это не было неприятно. Он действительно внезапно почувствовал, что детство его ушло. И еще он думал о том, как странно мало вмещает в себя человек, впрочем, не так общо он думал, а как мало вмещает в себя ОН и винил себя за это. Вот приходит одно — и уже не хватает на другое. Жестокость такого открытия тем не менее его не поразила. словно ощутил он в этом неизбежный порядок вещей.

И Алексей стал думать о другом. «Я хочу, чтобы ты был красивым», — сказала Ася. Он разделся и начал разминку. Он забросил спорт в последнее время, хотя раньше каждый день это было чуть ли не главным делом. Тело теперь сопротивлялось упражнению. Но в этом насилии он ощутил — словно бы вспомнил телом — радость. Когда разогнал кровь, то открыл форточку. Остро запахло снегом.

Разминку он делал по полной программе, когда-то им тщательно, одно упражнение к одному, разработанной. Тут были и совсем сложные, акробатические уже упражнения, и то, что он по-прежнему мог выполнять их, было вполне серьезным удовлетворением. В нем

проснулось ощущение силы и покорности каждой мышцы, которое совсем еще недавно было чуть ли не главным ощущением его полноценности и равноправия, а может, даже и превосходства в этом мире. Это ликование тела, такое привычное раньше, было теперь особенно приятно.

Следующим номером должна была быть пробежка, и Алексей стал натягивать тренировочный костюм и кеды. Нарядившись, он взглянул на себя в зеркало: лицо его, осунувшееся, потемневшее, понравилось ему. Ноги, казалось, уже бежали — такое легкое и сильное было в них ощущение.

Но он не побегал, а зачем-то еще прошел по коридору на кухню. Пелагея доставала из духовки гуся, тетка готовила свою знаменитую новогоднюю шарлотку, мама, подслеповато щурясь, строгала огурцы, а Трефилов стоял спиной ко всем и курил, глядя в темное окно. Все обернулись к Алексею, только Трефилов не обернулся.

— Неужели побежишь? — сказала тетка, и тон ее был дружелюбен, хотя до сего дня она словно бы и не замечала его: так сердилась, что он огорчает маму. «Это тридцать первое...» — опять подумал Алексей. Пелагея, которой эти-то вещи были всегда безразличны, кроме разве любопытства, сейчас была просто сердита над гусем и посмотрела неодобрительно. Трефилов повернул голову на теткин голос, косым взглядом уследил Алексея, выпустил дымок и хмыкнул.

— Да, сбегая немножко, — сказал Алексей. Кухонный чад после разминки и открытой форточки был особенно неприятен — и он побегал.

С наслаждением вдыхал морозный воздух. Добежал по берегу Карповки до Ботанического сада и побегал вдоль ограды. И словно бы смотрел на себя со стороны, как он легко и красиво бежит. Тут нужны были девушки, чтобы это видеть. Но было пустынно. Здесь всегда бывало пустынно, но сейчас даже редких прогуливающих не было. Все готовятся, подумал Алексей. Было удивительно тихо, и фонари не горели. Морозец стоял небольшой, но снег поскрипывал под кедами — единственный звук, да еще шум дыхания. Было очень красиво — но Алексей уже ничего не видел, потому что тут уж сказалась его растренированность — ему стало тяжело. Сначала сбилось дыхание, потом и ноги отяжелели, ста-

ли чужими. Тогда, совершенно теперь некстати, появились две девушки, захихикали: и в Новый год бегают... И Алексей перешел на шаг. Слюна была как клей. Где-то высоко в груди саднило и словно бы треснуло. Сердце стучало всюду.

Дома он старательно чистил зубы, выбривался. Затем был душ. Сначала горячий, потом все холоднее и, наконец, поухивая, Алексей выключал теплую воду и брызгался в ледяной. От него шел пар. Растершись, он накинул халат и поспешил одеваться. Все он делал обстоятельно, с чувством.

И когда все было кончено, он прошел в мамину комнату и взглянул в большое зеркало. Он стоял в нем в полный рост и остался собою доволен. Всегда после такого комплекса истязаний он казался себе красивым.

Такой вот он снова прошел на кухню, где его почти насильно накормили праздничным обедом. Есть он не хотел, но без обеда мама все равно бы его не отпустила.

И вот уже был полностью готов, а времени оставалось как раз на дорогу.

— Ну, я пошел,— сказал он маме. Тут надо было добавить «С наступающим вас» или «Счастливо встретить», но почему-то, раз он покидал дом, сказать такое было неловко, вроде бы фальшиво, и он ничего не сказал.

— Ну, счастливо тебе встретить,— сказала мама и, привстав на цыпочки, поцеловала его в лоб.

— А ты разве не с нами? — спросила тетка. В тоне ее по-прежнему не было метамла, но все-таки что-то она этим подчеркнула. Знала ведь и раньше, что он уходит.

— Да, мне надо с ребятами... — сказал Алексей. И все-таки выдал из себя: — Счастливо вам встретить!

Все заулыбались, закивали, но в этом было уже какое-то усилие и скованность.

Алексей вышел из дому с тяжелым сердцем, чувствуя вину и сопротивляясь сознанию ее: ее нет на самом деле, что такого?

Но в автобусе, набитом и шумном, это прошло.

Когда он поднимался по лестнице, понял, что очень волнуется. Из-за этой самой «Астории»... Пошла туда Ася или все-таки не пошла? А если пошла, то вернулась уже или еще нет? Вряд ли вернулась... Он поднимался уже медленнее, и ему все больше становилось не по себе.

Он еще подумал, что вот до самой почти Асиной двери, до одиннадцати часов, он постарался ни разу об этом не подумать, целый день, нет, два, он не допускал себя к мыслям об «Астории». И когда он нажимал звонок, он уже очень волновался. Так было, впрочем, всегда — дома она или нет? — но сегодня было так, что можно считать, никогда он не волновался перед Асиной дверью до сего дня.

А открыла ему Ася.

Была она такая, что он ее просто никогда такой не видел. Сверкала. Смеялась, что-то быстро говорила, он не помнил что. Очевидно, радовалась ему. Подставила щеку. «Аккуратней», — сказала она. Не дала себя обнять: мять платье. А у Алексея и без предупреждений было такое чувство, что нельзя ни прикасаться, ни дышать на такую красоту. Он только и приложился, так, наверное, к иконам прикладываются... Щека была прохладной, с улицы. Вроде что-то мешало ему смотреть, он смотрел, как близорукий без очков, ничего вокруг не видел, словно помещались они с Асей в шарике света, а дальше было темно. И чувство вроде гордости распирало его: что ни говори, а эта вот, такая женщина принадлежит все-таки ему! Но тут было и чувство какой-то своей непричастности, случайности в этой красоте, словно только во сне могло произойти такое, а с ним — нет, он недостойн.

Ася усадила его на стул, чтоб не путался, ей еще салат доделать надо. Тогда он увидел на столе перед собой салат и не открытый еще майонез рядом... И все получалось так, что Ася его любит, потому что, если она и не ходила в «Асторию», то все ясно, а если и ходила и все-таки вернулась и так рано, то тем более. Он балдел от этого. Ася, повязав передник, месила салат. Она опускала в него руки и ворошила массу, и в этом тоже была неожиданная красота. «Ты сегодня красивый», — говорила Ася. Кровь бросалась в голову. «Что же ты мне ничего не скажешь о моей елке?» — говорила Ася. Тогда он видел елку. Украшена она была всеми клипсами и бусами, какие он только знал у Аси, в основном же елка была зеленой, это было очень хорошо, что она была в целом зеленой. Когда он увидел елку, то она сразу и запахла. Он балдел и от этого.

Салат был готов, а все остальное Алексей вдруг увидел на подоконнике, уже готовое. Ася очутилась с

ним рядом без передника, и руки отмыты от салата. «Так и сидишь? Какой ты послушный, прелесть!» — чмокнула его в щеку. «Сейчас будем накрывать. Ты мне поможешь». Затем добежала до стенки, воткнула громкоговоритель. Кто-то сразу же запел. Ася сдернула Алексея со стула, закрутила, затормошила, засмеялась. «Какой ты у меня смешной... и красивый», — говорила она.

И вдруг Алексей увидел, как меняется Асино лицо.

Взгляд ее проходил где-то в миллиметре от его щеки, она почти что на него смотрела, поэтому особенно неприятна была перемена. Так что не хотелось оборачиваться: там могла быть кошка величиной с тигра, или горилла величиной с дом, или... как во сне, в общем. Он обернулся: там были Нина и еще две или три девушки, их он видал и раньше, Нинины приятельницы. Приятельницы по какому-то кружку, спорт-драма-мото-хор. Они входили, не здоровались, вешали свои пальто на крючки около двери. Как раз под громкоговорителем. Это о них он пел песню: «Парней так много холостых». Алексей посмотрел на часы, было без четверти двенадцать. Стал искать глазами Асю. Аси не было. И Нины тоже не было. «Здравствуйте», — сказал Алексей. Ответили, каждая отдельно, вполне вежливо, со вниманием, изучая. Вошли, словно бы вместе, Ася и Нина. Как-то очень отдельно вошли, в походке, в фигуре словно было: ничего не имеем друг с другом общего. И от дверей их как растолкнуло: Нина к подругам, Ася — куда же? — к Алексею, — друг на друга и не посмотрели. «Там-там-там-там», — заговорили под вешалкой Нина с девушками. «Ну, что?» — спросил Алексей. «А ну их к черту!» — с ненавистью сказала Ася. «Там-там-там», — говорили в углу. Две группировки в одной комнате, ничего общего друг с другом не имеют, не смотрят друг на друга. Слово для одной не существует другой. «Они что, совсем?» — спросил Алексей. «Выгнали их, выгнали из компании, — со злостью сказала Ася. — Крас-сотки... Не мудрено». Очень странно было наблюдать, как Нина с девушками не замечали их с Асей. Они уже разбрелись по комнате. Но существовали друг без друга, и друг в друге, как мир и антимир, что ли.

Это было всерьез досадно — разрушение праздника. И не просто праздника — Нового года. И особенно этого. Для Алексея этот Новый год был таинство, и чудо,

и осязаемое счастье. Но то, что расстроилась Ася, испугало его в конечном счете больше, и он сказал: «Ну что ж поделаешь... Раз такая несудьба. Их же — не выгонишь... Дом не наш. Да и вообще — не выгонишь. Надо хоть как-то встретить, чтоб по-человечески. Ну, не расстраивайся... Не в последний раз». Ася расстраивалась. «Пригласим их, — говорил Алексей, — тоже к столу, вместе и встретим. А что не вдвоем, несчастье, конечно, но хоть что-то надо спасти. — Он робко дотронулся до Асиного плеча, боясь: вспыхнет и достанется ему, Алексею, — вот уж не виноват! — Позовем, а? Они, конечно, дуры, что так ведут... Да и не они — Нинка. Девушки — еще ничего. Ну как?» — Асино лицо успокоилось, вернее, опустело. «Ну что ж, — сказала она. — Уже и чокаться пора, обсуждать нечего».

«Девочки, — сказала она, — присоединяйтесь к нам, раз уж так вышло». Девочки смотрели на Нину. Нина ни на кого не смотрела. «Спасибо, — сказала она каким-то немислимым тоном. — Мы не напрашиваемся». — «Девочки, правда, — сказал Алексей, — не надо портить друг другу праздник, Нина. Ведь мы вас искренне приглашаем. Не можем же мы встречать, а вы в той же комнате — нет...» — «Мы никуда отсюда не уйдем!» — взвизгнула Нина. «Мозги у тебя набекрень...» — с издевательским сожалением сказала Ася. «А ты не оскорбляй, не оскорбляй, слышишь!» — кричала Нина. — Скажи спасибо, что мы вас терпим. Тоже... нашла мамочкиного дурачка!» — «А ты не трогай! Не трогай! — Ася вылетела на середину. — Не твое. Тебе и такого не видать! Правильно вас выгнали, так и надо!!!» Нина, руки в бедра, бочком, короткими шажками, как в пляс выходила на середину. Она была вылитая Лолита Торрес, так все говорили. «Проститутка!» — кричала она. — Проститутка!» — «Не смей!» — выскочил Алексей. «А ты куда лезешь?! Тяпчик...» — раздельно, по слову сказала Нина. «Какой тяпчик?» — растерялся Алексей. «Отойди», — как-то недобро сказала Ася. «Там-там-там, барам», — говорили подруги. «Завидно?!» — кричала Ася. — Выгнали?.. Завидно!» — «Деток учишь?!» — «Завидно! Завидно!» — «Не надо! Не надо!» — Алексей. «Тататам-барам-тамтам!» — подруги. «Старая дева!» — Ася. «Трата-та-там, бум-друм», — подруги. «Бьет же! — закричал Алексей. — Двенадцать же!»

Все замолкли. Застыли. Действительно. Било. Тра́м- 165

тамтам-там-барамтам-тамтам! — удивительно мелодично. — Бамм! Пауза. Бамм!..

«Ну их к черту! Ну их к черту! — подпрыгнула Ася и повлекла Алексея. — На! — сунула ему шампанское. — Скорей!» Придвинула к своей кровати табурет, набросила на него полотенце. Неожиданно много закусок поместилось на нем. Все это она проделала не разглядеть, как быстро. Шампанское выстрелило. «Бамм!» — прозвучало в громкоговорителе. И пауза. Не просто пауза — дольше: тишина. «С Новым годом, милый!» — сказала Ася. «С новым годом!» «Там-там-тим-там-там-там», — радио заиграло гимн. Выпили. Ася села на кровать так, чтобы спиной к Нине с подругами. «Садись, — сказала Ася. — Не обращай на них внимания». — «Я и не обращаю», — сказал Алексей. «Вот и хорошо, вот и хорошо!..» — Ася всхлипнула. «Да что ты! Что ты! — разволновался Алексей. «Ничего... Это сейчас, — сказала Ася. — Ты ее не слушай, что она говорила...» — улыбнулась сквозь слезы, жалко так, несчастно, что Алексей чуть не заревел. «Да я разве... разве я когда-нибудь слушаю!» — с жаром сказал Алексей. «Салат мой ешь... Давай без тарелок, а? Прямо ешь. Ведь вкусный?.. Правда, а?» — «Очень!» — «Правда, милый? Нет, правда, вкусный?!» — голос у Аси подрагивал, она собиралась заплакать. Алексей тоже еле сдерживался, все-таки глаза у него подернулись: видел он хуже. У них вдруг такая нежность началась друг к другу, что и от этого можно было плакать. «Ничего, ничего», — говорил он. «Мы еще поживем, а?» — говорила Ася. «Мы — счастливые!» — говорил Алексей. «Да, да, именно! Мы — счастливые, — говорила Ася. — Ты не обращай на них внимания». Не обращать было трудно. Хотя до сих пор, начиная с курантов, никого, кроме их с Асей, для него действительно в комнате не было. Но он все-таки сидел к ним лицом и они слишком на себя его обращали, главным образом Нина. Она ходила от стены к стене, как тигрица. Глаза ее, так сказать, горели. Ходила и нервно курила. «И курить-то не умеет, — вдруг сказала Ася. — Дай мне». Закурили все. Ася сидела к ним спиной, но Алексей чувствовал, как она этой спиной, может, еще больше, чем он, видит и мучится. Нина все ходила. Подруги стояли скорбной композицией. Три себе грации.

«Тоже странно, — вдруг подумал Алексей. — Сейчас, быть может, всем скверно, от себя скверно. Но если что-

то попробовать, примирить или извинить, то будет еще хуже. А после этого уже — еще больше будет каждому от себя скверно...»

Все понемногу успокаивались. Но уютнее от этого не становилось. Скорее, наоборот. Каждый чего-то друг другу не досказал или не доругался, и от этого такое напряжение повисло в воздухе, словно мощное силовое поле, телепатия, поле-пси, сказал себе Алексей. И еще подумал: «Вот ведь и ссора и крик затягивались из-за того, что каждый как далеко бы ни падал, что бы ни говорил, все-таки самого страшного оскорбления, которое у каждого вертелось на кончике, сказать не смог и самого худшего поступка сделать — тоже. Вот Нина, она удивительно хотела сказать: «Убирайтесь вон из моего дома!» — а как ни расхотелась, не смогла.»

Кусок не лез в горло. Алексей вдруг посмотрел со стороны. Даже Асю не увидел со стороны, и она тотчас отдалилась. В буквальном смысле как-то видел он ее издали, хотя сидела она рядом. Это было мерзкое чувство. Хотя появилось спокойствие. Но тут был холод, равнодушие — скользкая змея. Казалось, при чем тут эта женщина, с ним рядом? Сидят на одной постели, а откуда это? Почему эта комната и в ней еще совсем уж незнакомые люди? О чем это они говорили, кричали, переживали, ссорились из-за чего? Чепуха какая-то. Алексею стало не по себе, даже страшновато, он не хотел так видеть. Это как на оптическом фокусе в популярном журнале: то видишь черное — и тогда одна фигура, то белое — и фигура совсем другая. Смотришь: то так — то так, словно там переключатель какой в глазу, ручка, как у телевизора: чик-чик. Это в первый раз случилось, что он посмотрел на Асю со стороны — и испугался, хотя так уж точно не сознавал: вдруг с этого рава начнется переключение — то так, то так. Он не хотел в себе этого зренья, не по чувству. Может, оно и умнее, но от него исчезает счастье — это уже знание какое-то — не хотелось этого знания. Все от него становилось чужим.

Ася встала и подошла к Нине. Они пошептались о чем-то от всех в стороне. Шепот становился громче, перерастал. Уже «там-там-там» было слышно из их угла. Но что-то их вдруг остановило, шум прекратился внезапно, не достигнув того, чего уже ожидал Алексей — повторения сцены, и они разошлись. Ася подошла к



нему, кипя. Шепот, злой и непонятный, почти свист — это было то, что хотела бы сказать Ася Нине, но сдержалась. Алексей снова видел только Асю, теперь не со стороны — это было облегчение, что не со стороны, и он говорил: ну что она так переживает, не надо, плюнь... «Хоть на лестнице! — сказала Ася (слова вроде бы ему, а злость их — Нине). — Хоть на улице!»... У Алексея затрепетало в горле, сдавило, он не мог бы сейчас выговорить ни слова. Ася метнулась к двери, прихватив со спинки кровати свой вечный халатик... и словно бы тут же, только и успел Алексей обвести растерянно остальных участников, оказалась в халатике, а зеленое платье аккуратно развешивала на спинке, покрывала полотенцем. Что-то шептала она при этом яростное, но в то же время тщательно расправляла складки на зеленом платье — это несоответствие Алексей почему-то отметил и тогда же подумал, что то, что он это заметил — тоже несоответствие его взволнованному состоянию, в сущности такое же, как у Аси с ее платьем. А она была уже в пальто, руки ее металась — не разглядеть, и туфли — гвоздики были аккуратно сложены в коробку, а на ногах — без каблучков, уличные. «Одевайся», — бросила она Алексею и складывала в сумку вино, конфеты и пирожные... Выпрямилась. Алексей увидел тогда ее лицо, несколько покрасневшее оттого, что она перед тем наклонялась, злое и несчастное. Он хотел что-то ей сейчас сказать, чтобы это ей помогло, но никак не знал что. Те слова, что приходили, могли, ему казалось, еще больше разозлить Асю. Этого он, конечно, не хотел и мучился от своей неумелости и бестолковости: даже вот и сказать не может. Ася же посмотрела на Алексея, кровь отливала от ее лица, лицо белело, и, словно бы вместе с кровью, глядя на Алексея, исчезало раздражение и злость, лицо стало спокойным, ласковым и грустным: «Я нехорошо себя вела?.. — сказала Ася. — Грубо? Извини, я не хотела бы быть некрасивой перед тобой... Ты не смотри и не слушай, когда я так. Мне потом очень плохо, что ты видел меня такой...» — «Что ты, Ася! Что ты! — сказал Алексей. — Ты права... и все понятно». — «Ну вот и хорошо, а ты забудь, милый, ты ничего не видел... на! — Она сунула ему сумку со снедью. — Пусть подавятся!»... И не оборачиваясь, они вышли из комнаты.

ка, на которой они сидели, уникальная скамейка Асиной лестницы, под огромным стрельчатым окном, только сюда и доходил отсвет луны, что ли, или снега на дворе, или окон, где праздновали, этот отсвет чуть-чуть (есть он, нет его?), чуть дрожащая неуловимая геометрия рам на полу, на стенке, на Асином лице, удивительном, необыкновенном. «Ах ты, олененок мой! Глазки мои... Какие глаза!» — шептала Ася, он растворялся и падал, нестрашно, сладко и очень страшно, дико, лицо Асино все к нему, в нем, о нем, а его, Алексея, и нет вовсе, он исчез, растаял... Эта лестница вдруг, казалось, полная гулких шагов и голосов, сердце вспархивало, как испуганная птица, и медленно оседало, опадало на место, там шли люди, много людей по лестнице, поднимались к ним, за ними. «Вот они!» — кричал главный, брали за руки и вели куда-то, на казнь, на Голгофу, а они все равно были счастливы... Эта лестница, полная шорохов и отсутствия, никуда не деться, прикован, Асино лицо сверху, снизу — всюду.

Он был пуст, буквально ощущал себя как оболочку, из него словно вынули мозжечок, и ему казалось, что он растекается, расплзается, а не идет... пьян, не пьян... снег падал откуда-то легкими распадающимися клочьями, и луны не было, и фонари не горели, но свет — его не было, но он шел потихоньку отовсюду, как снег, вместе со снегом, тихо очень было, и они молчали — шли по своему саду.

...Вдруг он понял, что идет уже один. Было темно, снег летел со всех сторон, исчезло ощущение времени и пространства. Где он? Куда идет? Почему? Это Марсово поле. Он идет домой. Потому что они с Асей разошлись по домам. Он ощутил, как слепая маска радости, застывшая на его лице, стала распадаться. Он вроде бы очнулся. Не мог вспомнить... Ася сказала, расстанемся сейчас, чтобы осталось так же хорошо, как было. Вдруг почему-то вспомнилось, как выбегали Ася с Ниной из комнаты, как шептались несколько раз в комнате... Неужели его разыграли, и они сейчас все вместе, и... — он словно бы замер над пропастью, одна нога уже в пустоте. Стало страшно. Он прогнал.

Постарался вспомнить другое. Был прекрасный сад, и они там были вдвоем. Они сидели на скамейке, и перед ними была ровная поверхность снега, даже странно — без следов. Это, впрочем, не странно, потому что они

пришли к скамейке не по дорожке, а сзади, проваливаясь по снегу. Снег лежал на дорожке так ровно, что неощутима была его поверхность; словно он пророс из земли, как белая трава: нежен и легок, как плесень. Но, главное, в саду были, конечно, деревья. И, глядя на темные, словно теплые стволы, и выше — на ветви, ветки, веточки, — видели они, что деревья не просто заиндевели, или посыпаны снегом, или снег лежит на ветках, — ветки словно сами были из снега, толстые до странности, похожие на белые кораллы. Снег на ветвях повторял все их изгибы и линии, всю сложнейшую их абстракцию, и деревья были словно повторены снегом. Они уже не походили на деревья, а сами были, как огромные невиданные кристаллы, кристаллические решетки. Даже не так: кристаллы эти были обыкновенны по своим размерам, просто они двое были необыкновенно малы, крохотны, растворены, их не было. Прекрасное дно морское... И вот они сидели — перед ними была дорожка, словно поросшая снегом, будто он пророс у них на глазах, а они тут сидели всегда, как всегда стояли тут эти огромные, уже очень старые деревья, с темными теплыми стволами и ветвями, повторенными снегом.

Потом, когда тишина стала уходить из них, они пили и ели и что-то без конца говорили, неважно что и не запомнить, — ощущение было прекрасным. В этом было как бы сознание того, что этот сад приснится через десять, двадцать, тыщу лет. Даже кому-нибудь другому приснится. Этот сад как-то на глазах стал прошлым. По всему этому саду не было вообще, он случился с ними — счастье, конечно, — но лучше не задумываться об этом.

В общем-то, они очень недолго просидели в своем саду. Это теперь понял Алексей, взглянув на часы. Со всем даже пустяки. И потом как-то расстались, не вспомнить как. Ася вдруг побежала. И он ее не провожал... Тут опять начиналась пропасть. Он не стал задумываться над ней.

Он шел домой, медленно, не думая. Вспомнив сад, забыв пропасть, снова один, он опять стал сам себе неощутим, растворен — шел ли, плыл, парил, что ли, — и так в бездумье, какой-то одинаковый со снегом, медленно летевшим то ли вверх, то ли вниз, то ли во всех направлениях, он очутился на своей улице. Справа был его дом, слева — Ботанический сад. Он испытывал нежность к саду, ему не хотелось возвращаться домой, то

же предчувствие непоправимого снова надвинулось на него — заставляло его сжиматься, не хотеть идти — да и было еще рано. Он шел вдоль ограды, выходил по Карповке к Невке, по этому пути он бежал только что, всего несколько часов прошло, сотен лет, тысяч... все было другим.

«А что произошло дома? — подумал он. — За эти тыщи лет?»

Все как прежде... Старики выпили по две рюмки, порозовели, повспоминали — оживились было. И устали. Устали и разошлись. И теперь спят.

И праздник прошел, как в прошлом году и как десять лет назад. Праздник — в прошлом. Устой...

«А что, если они обнаружили?..» — снова подумал он и поспешно отогнал эту мысль.

Он представил себе заспанную тетку, или бессонного Трефилова, или маму, открывающих ему дверь, укоризненный взгляд... И даже представления об этом взгляде не смог вынести.

«Лучше спать на улице!..» — подумал он сердито и радостно. И он перелез через ограду — это место он помнил с детства: дерево низко наклонилось к земле и год за годом все падало и продавило ограду — перелезть тут не стоило труда.

В саду он не боялся истоптать снег, а шел, как на лыжах, оставляя длинный непрерывный след — две колеи. Он соскребал снег местами до земли, и след чернел. Перед ним затемнело что-то большое, высокое и округлое вверх. Он передумал всякое, это представлялось ему даже огромной головой, хотя он уже понимал, что это скирда, или стог, или копна — как там называется... Он попытался забраться наверх, запыхался, снег таял в рукавах и за шиворотом — это было глупо: даже пытаться забраться вверх по отвесному селу. Он обошел кругом и в одном месте обнаружил как бы выступ, площадку — сено оползло с одного боку. Площадка была невысоко, и на нее он сумел забраться. Там было много снегу, пока он раскидал его, то уже почувствовал, что промокли ноги и рукава, но было тепло, разве что не таяло. Разворошив снег, он очистился сам и стал закапываться в сено. Этот необыкновенный запах сена, который он разбередил, разбудил среди зимы, и запах снега, и запах мокрых варежек!.. Он вспомнил этот запах, хотя никогда в своей жизни даже не был в дерев-

не и на сене никогда не спал. Он вспомнил, вернее, ощутил — ощущение было безусловным и точным, — что уже было так когда-то: и этот стог, и зима, и такие же стояли деревья, и он, маленький мальчик с незнакомым лицом... Это было словно бы в детстве, но не в этом, а в другом — в одной из его прошлых жизней. Он был тогда не собой теперешним, а другим, совсем другим человеком. И тогда это было с ним, этот запах... в той, другой жизни. Он улегся наконец, стал натягивать на себя сено, вытаскивая по бокам пучки и уже засыпая... Некоторое время он лежал так на спине и глядел вверх: там были ветви дерева и ветви другого дерева и между ними, белыми, — пространство; потом достал платок, его было неудобно доставать, «одеяло» его распадалось, он даже сердился, но платок он достал, накрыл им лицо и на ощупь позакидал себя еще сеном.

Ему показалось, что он только и успел, что закрыть глаза и сразу провалился куда-то, от чего и очнулся в испуге, только закрыл и открыл глаза, как моргнул. Он ничего не видел и не понимал, ему было душно, влажно, что-то навалилось на него, пока он закрывал глаза, а теперь, когда открыл, не исчезло, не пропадало, как полагается сну. Он не ощущал своего тела, лица, рук. Он вскрикнул, слабо получилось, негромко — судорожно вздернул руку, словно был в неуверенности, подчинится ли рука ему, и смахнул с лица то, от чего было душно и жутко... платок. Он увидел перед собой белое небо, все в ветвях больших деревьев, и в этом белом небе, прямо над ним, летела огромная черная ворона, замещающая собой белое небо, летела и кричала, будто повторяла его собственный вскрик, летела, все летела и кричала резко, пронзительно и тревожно.

## ПЕРВОГО ЯНВАРЯ

Ася тогда сказала, в саду, что завтра они поедут за город. Ей так тогда захотелось за город, глядя на деревья. И поедут они в Сестрорецк, у нее там подруга живет, подруга много старше, но прекрасный человек. Она Асю сколько раз звала, а та все никак не могла собраться. А завтра они поедут точно. На лыжах или так погуляют, а вечером еще немножко встретят, с подругой. У нее целая квартира...

день, то ли было так поздно, что уже темнело, — не разобрать. Шевелиться не хотелось — так и лежал, как проспунулся. То прекрасное, что было вчера, сразу вспомнилось ему, но как-то потеряло свою остроту, было как бы очень давно. Так же трудно вспомнить, как сон, подумал Алексей. Ему и хотелось вспомнить это так же остро, как это было, но не удавалось. Он только все больше просыпался. Лежа в этой полутемной комнате, он вдруг почувствовал, как истекает время, он вот лежит — не шевелится, а оно истекает, не останавливается. Это не было страшно, такое ощущение, — просто тупая неизбежность, порядок вещей, так есть. Но то, что то же время унесло вчерашний день, было нелепо. И он вдруг вспомнил, что тогда, в саду, в нем проклевывалось и даже отвлекало (но он тогда отгонял) чувство, что не только вот он живет самой полной жизнью, какой когда-либо жил, но и время все уносит от него эту жизнь. Так он точно не думал, но какое-то подобное ощущение было. И правильно делал, подумал он, что гнал. Это — уже не жизнь, такое ощущение...

И когда он вспомнил это, то вспомнил и то, что они сегодня должны ехать за город. А ведь уже поздно, темно, как вечером... Может, Ася уже звонила? Может, поехала одна? Тогда он вспомнил, и это было удивительно резко, словно только что увидено...

Он услышал памятью крик вороны и увидел как бы с ее полета вершины деревьев и себя, лежащего в стогу, неподвижного, лицом вверх, раскинув руки, где-то глубоко внизу, и белый платок в одной руке. Это разбудило его совсем.

Он сразу сел на кровати, и это отдалось болью во всем теле. Болело совершенно все.

Сначала надо было узнать, сколько времени. Прощлепал по комнате — удивительно все-таки все болело! — часы показывали полседьмого, стояли. Поспешно одеваясь, он представлял, как все уже давно встали и бродят по коридору из комнат в кухню, но никого в коридоре не встретил, и вообще было подозрительно тихо. По телефону набрал время — и чертыхнулся: не слишком поздно — слишком рано было, всего полдесятого, потому и темно. Но то, что Ася еще спит и, конечно, не звонила, его успокоило.

«Как же я так мало спал?» — удивился он.

Спать тем не менее не хотелось. Он попытался хоть

немного размять деревянное, нывшее тело; принял душ. Было всего десять часов, и та же тишина и темнота по всей квартире. Он нырнул обратно в постель, устроился с «Моби Диком». Это была замечательная книга. Все, что он читал, было так осязаемо, просто и вкусно; в то же время так не мучительно, так легко и умно, а прочел он не более ста страниц от начала, все так медленно, но не нудно разворачивалось, собственно ничего еще и не развернулось, — он наслаждался книгой. Он как раз читал, как два внезапно обретенных друга лежат ночью в одной постели, не спят и задушевно беседуют, и прочел дальше:

«Нам было очень хорошо и уютно, тем более что на улице стоял мороз, да и не только на улице, но и в комнате, ведь камин-то был нетоплен. Я говорю «тем более», потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остается в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничто не существует само по себе. Если вы льстите себя мыслью, что вам очень хорошо и удобно — всему вашему телу, с ног до головы, и притом уже давно, то, значит, вам уже больше не хорошо и не удобно. Но если у вас, как у нас с Квикегом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить; теплая спальня — это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения — не иметь между собой и своим теплом, с одной стороны, и холодом внешнего мира — с другой, ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите точно единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла».

Тут Алексей вскочил, открыл окно и снова нырнул в постель и устроился в ней сидеть, подтянув колени к носу, так сидел и больше «Моби Дика» не читал.

В таком положении он курил, и для полноты образа надо было еще что-то такое умное подумывать, думать же у него сейчас не получалось, но все равно было хорошо.

Потом и кое-какая дрема приходила к нему, он закрывал глаза, а потом открывал, чувствовал, как тепло ему всему, а нос стыл, и действительно все это вместе было не так уж плохо, и он снова закрывал глаза.

— Черт знает что! Черт знает что! — Мама захлопывала окно. — Что ты еще учинил?

— Единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла, — сказал Алексей. Он давно так легко не открывал глаза, это было радостно открыть их и сразу ясно увидеть мир. Это было каникулярное детство, это был очевидный праздник.

— Ты не простудился? — уже справившись с окном, говорила мама. — Зачем ты это устроил? Выстудил всю квартиру...

— Теплая постель, — сказал Алексей, — это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами.

— Что за чепуху ты несешь, Алеша...

— Все в порядке, мама. С Новым годом!

Квартира оживала. Притихшие после праздника, на кухне появлялись и тетка и Трефилов. Завтракали в кухне роскошными остатками. «Остатки — сладки», — приговаривали они. Света по какому-то общему ощущению нигде не зажигали, а так и шевелились медленно и сонно в сумраке; день был темный и незаметно переходил в вечер. Ася же не звонила. «Должна бы уже и проснуться», — думал Алексей. Но она не звонила. Он уже выслушал рассказы родственников о вчерашнем празднике и сам рассказал, как было: мол, весело и хорошо. Перечислил, по мамину настоянию, всех ребят, что с ним были, рассказал, какие у них были девушки и что ели и пили. Трудность заключалась в одном: запомнить, что он рассказал, чтобы после не путаться. Кажется, запомнил. Он уже ругал себя, как всегда, что не пошел к Асе без звонка, но вскоре понял, что идти было бы нелепо: неизвестно, что там после вчерашнего за обстановка.

Ася позвонила в четвертом часу. Никуда мы, конечно, так поздно не поедem, думал Алексей.

— Ну, мы едем или не едем? — сказала Ася. Она была весела, возбуждена и очень хотела ехать.

Они встретились на перроне. Ася была закутанная, замотанная и какая-то новая.

— Вот брюки у Нинки стащила! — говорила она и смеялась. — Идут?

— Идут, — говорил Алексей и тоже смеялся. — А как там обстановочка?

— Да никак. А ты знаешь, что они следом за нами тоже ушли?



— Не-ет.

— Мы могли бы вернуться.

Потом они вспомнили и представляли все в лицах. И Нинку, и ее подруг, и даже себя. И очень смеялись.

Потом ехали в электричке. За окном было совсем темно. В нем можно было уже отражаться. Они и отражались, Алексей и Ася. Никого, кроме них, в вагоне не было. Пока они еще ехали по городу, были видны огни фонарей и окон, домов и еще такие синенькие и красные огоньки по путям, таинственные и веселые. Радиоузел заиграл какой-то замызганный вальс. А вагон, ярко освещенный изнутри, нес в стеклах и словно бы за ними отражения самого себя — своих скамеек, плафонов и пассажиров, так что там было еще по призрачному вагону слева и справа, и отражение Алексея с Асей тоже существовало отдельной жизнью в призрачном вагоне сбоку поезда. Играли вальс, поезд делал поворот, разворачивались и проносились городские огни, и Алексею показалось, что их вагон, и они сами, и призрачные вагоны с отражениями его и Аси, и фонари, и окна домов — все это вместе танцует под замызганный медленный вальс: разворачивается, покачивается, удаляется.

А когда выехали из города, то в окнах не осталось ничего, кроме отражения, — черно, до самой станции, где свет, платформа, один или двое ожидающих — и снова темно. Вчерашний день сказывался, все сладко ныло, они дремали, Ася на его плече, говорили мало. Но было хорошо, и ехать бы так долго.

Когда они приехали, то даже не хотелось выходить, терять надреманное тепло. А когда вышли, и начавшийся к вечеру морозец обхватил их, и они вдохнули чистый не городской воздух, то обрадовались, вся вялость ушла, что вот все-таки молодцы, что выбрались, и как же они без загорода живут месяцами, другое ведь дело!..

Но подруги не оказалось, она уехала в город. Суеты же в них сегодня не могло быть, и поэтому они даже не огорчились, а поехали — это Алексей сообразил — в Лисий Нос, там жил приятель Алексея. Но и приятеля не оказалось. Но они опять же не огорчились, а побродили, выпили свою бутылку на скамейке у залива, под большой сосной. Залива в ночи видно не было, там был провал, но они подышали заливом и потихоньку двинулись к электричке. В вагоне их совсем разморило, и они проспали до самого Ленинграда. И расстались, Алексей

даже провожать не пошел — время позднее, а завтра рано вставать.

У самого дома Алексей опять замешкался, вдруг совершенно точно показалось, что дома что-то случилось за это время, пока его не было, что теперь уже там знают; что знают — он не позволил себе произнести даже мысленно.

Дома оказалось, что приехал отец.

## ВТОРОГО ЯНВАРЯ

В этот день ему везло. Дело, возможно, было в том, что суета, которая исчезла в нем на Новый год, все не появлялась. Ему как-то безразлично было, удастся ли то или иное школярское его дело, и все складывалось как-то само собой и как нельзя лучше. Да и институт был сегодня не суетный, малолюдный, полутемный. Никто никуда не спешил, и те, кто вынужден был сегодня появиться, словно бы еще не растеряли праздника, жили тихо. С самого начала оказалось, что пришел он кстати и к самому моменту, когда опять начали переписывать контрольную. Народу было совсем немного, и преподаватель был всего один, та самая Большинцова, красивая женщина. Все было не так торжественно, Большинцова без конца выходила, и Алексей, не спеша и будто не трудясь, даже не заметив, как это у него получилось, все не то списал, не то сам решил. Вышло чисто.

После этого ему уже все удавалось. То есть, куда бы он ни приходил, там оказывался именно тот, кто ему был нужен, все эти ученические заторы и заторчики разрешались быстро и как бы само собой. Он все уладил и достал какие-то конспекты, которые так нужны ему были. Все так шло, и, когда вдруг что-то, совсем уже мелочь, сорвалось, кого-то там не было, что ли, или только что вышел, он понял, что грех дальше испытывать судьбу, на сегодня хватит, а за первой неудачей может, как всегда, последовать следующая и следующая, и начнется отвратительная такая цепочка, и это уж факт, не стоит портить день... И, не потерпев поражения, храня в себе поразительную сегодняшнюю легкость удачи, он покинул институт.

И все дальше было, будто закона, по которому хлеб переворачивается маслом вниз, не существовало. Для Алексея это была редкость, он всегда чувствовал особое

к себе пристрастие того демона, что этим законом ведал, не выходил, так сказать, из-под тени его черного крыла. А тут подходили автобусы, и он подходил тут же, а автобус оказывался как раз тот. И в кармане у него оказалось пять копеек, и он не страдал с кассой и сдачей, и место было у окна. «Все уж как начнется, так и пойдет, пойдет!.. — славно думал Алексей. — Только надо все время чувствовать и самому не обрывать». Что надо чувствовать и что не обрывать, спроси его, он и не сказал бы.

Съездил на всякий случай к Асе, но ее не было дома, как она и предупреждала вчера: ей надо было на Лесной насчет работы. Поэтому он только убедился, что ее нет, но не расстроился, то есть настроения не растерял, а, наоборот, необычайно удачно, сразу попал в кино, и сразу начиналось, и картина его не огорчила.

Уже стемнело, когда он поднимался к себе по лестнице, с легким сердцем входил домой. Судя по вешалке, все уже пришли с работы, но и это его не удручило. Сегодня был тот редкий день, когда он мог рассчитывать на теплоту и равноправие, стоит только ему тем бодрым голосом, который у него сегодня будет без тени лжи, рассказать маме о своих успехах и добавить живых подробностей. Не надо будет видеть каменных напряженных лиц, суровых молчаний — все будет естественно наконец — патриархальная картина.

Так надо было на обычное мамино нейтральное «ну, как?» все сразу изложить, и тогда она отгадет.

Раздевшись, он прямо прошел в мамину комнату. Здесь было темно и только зеленела линза телевизора.

И край сухих голов  
забыл произрастанье... —

с чувством читал зеленый строгий человек.

У телевизора сидели две темных тени, папа и мама, и Алексей сказал им голосом хорошо потрудившегося человека:

— Здравствуйте!

— Здравствуй, Алеша, — тихо ответили родители.

Он присел на свободный стул. Так сразу начать об институте было бы неестественно, тут надо было выдерживать, потому что всегда он говорит об институте как бы неохотно, через силу, потому что, как правило, приходится темнить, а это все-таки неприятно, так вот и сегодня

надо было показать, что это только манера у него такая и не зависит от того, как успехи,— просто не любит об институте говорить — и все. Но вопроса, на который он так охотно бы сегодня ответил, не было. Родители молча и очень внимательно смотрели телевизор.

Бормотанье, прозябанье  
и нелепая дыра...

— Что это он читает?— все еще бодрим голосом спросил Алексей.

Мама прикрутила ручку, но совсем не выключила: исчез звук, но изображение осталось.

— Нам надо с тобой поговорить, Алеша,— сказала она ровным и тихим голосом. Папа потупился.

«Все. Это конец»,— сказал себе Алексей, поняв, что сейчас произойдет. Начинался кошмар. Страшнее быть уже не могло.

Мама говорила. Неверное, расплывающееся ощущение поселялось в Алексее. Ему казалось: это не с ним и не о нем происходит — не происходит, снится — не снится. Все расплзлось перед ним, как сырая промокашка... И этот неопределенный разрыв, ворсинки его — от этого мешался рассудок, мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора, рот ее все говорил что-то, а потом и не говорил, а только все шевелился, словно у мамы выключили звук, но не выключили изображения. Лицо ее тогда удалялось куда-то в бесконечность, становилось крохотным, неразличимым,— и оттуда, издалека, что-то говорила ему мама. Отец сидел не слышно, как мышь. Какой-то другой, тоже зеленый, человек, плавал в линзе, как в аквариуме. Алексей отклонил голову, линза искривилась, а человек сократился, исказился и заплывал там, как лягушка. Пузырьки в линзе увеличивались и играли зелеными краями. Мамино лицо снова приблизилось; это можно было уже проделывать, как фокус,— и удалилось. В аквариуме плавали уродливые человеко-рыбы. Разевали рты, как им и положено, молча. И все в этой комнате, едва освещенной зеленоватым водяным светом... Алексею показалось, что все они — странное такое семейство — погрузились в какую-то влагу и там шевелятся и существуют, на дне комнаты — банки. В аквариуме линзы заплывали водоросли, все побежало, побежало. Вдруг приостановилось: какое-то существо медленно опустилось на дно

и там исчезло. И тотчас другое, точно такое же отделилось от верхнего края и, разевая рот и делая плавательные движения руками, тихо опустилось на дно — там скрылось. И опять точно такое же, сначала ноги и позже голова, выплыло, погружаясь, в центр аквариума. Алексей изменял положение головы: существа начинали кривляться, уродовались, ломались... Что-то вспыхнуло, и побежала рябь. Мамино лицо возвратилось в исходное положение, звук у нее вдруг включился. «Понял? — услышал Алексей. — Сейчас пойдешь и сделаешь, как я сказала. Понял?» — «Да», — хотел выговорить он и, как в страшном сне, почему-то не смог: раскрыл только рот, тот с трудом разлепился, сухой, и что-то в нем скрипнуло. Мама сделала отцу знак, и отец, легко и не глядя в сторону Алексея, как бы и не прошел, медленно проплыл комнату, там, в темноте, порылся будто в иле и приплыл, держа три зеленых бумажки.

Алексей уже ничего не сознавал. Был он словно выключен, мертв. В голове легко и высоко звенело. Ему казалось, что он не ходит, а летает. И что вообще всего того, что есть, нет на самом деле. Какую-то даже легкость ощущал он.

...Теткина комната показалась ему с телевизор. Из-под зеленой фарфоровой тарелки белый свет ложился только в центр исчезавшего в темноте стола, на бумаги. Тетка обратилась к Алексею лицом и как-то отъехала вместе с креслом от стола в тень. Звука отодвигаемого кресла Алексей не услышал, словно бы тетка на кресле была дверцей шкафа, и дверца раскрылась. Лицо у тетки было ярко-зеленое от абажура, испуганное, и она как-то сжалась.

— Вот, я у вас украл, — говорил Алексей мерным голосом, — вот.

Он клал ей на стол две зеленых бумажки. Теткино лицо искривлялось, по нему побежала рябь, и жалобно, тонко она проговорила:

— Ну что ты... что ты! Да ты садись!.. Посиди...

...У Трефилова были зажжены абсолютно все лампы вплоть до ночника, а сам он стоял лицом в черное окно и курил.

— Вот... — начал Алексей.

— Положи на стол, — прервал его Трефилов, не оборачиваясь. Алексей увидел, как уши и шея Трефилова

стали бурными от крови, и тут же они, и уши и шея, исчезли в бешеных клубах дыма.

У себя в комнате он не зажигал света. Надо было как можно плотнее закрыть двери. Стараясь неслышно, он брался обеими руками за ручку и тянул, сначала слегка, потом все сильнее и изо всех сил, даже упирался ногой в косяк, пока не затрещала ручка. Замков ведь в квартире не было...

В темноте же он медленно разделся, старательно раскладывая одежду по стулу, чего обычно не делал. Сейчас, стоя босиком на полу, он подносил брюки к самым глазам — отыскивал складку, аккуратно вывешивал их на спинку. Ботинки — пятки вместе, носки врозь — поставил чуть ближе к ногам кровати, а не посередине. И лег.

Он лежал, сгруппировавшись, как в сальто, дышал в колени, пытаясь согреться. И вдруг не то что комната, не такая уж большая, но даже кровать показалась ему огромной. «Какие мы все маленькие, — повторял он про себя. — Какие мы все ма-ленькие...» — «Как ты смешно говоришь «маленький!» — смеялась Ася. — Майенький... Милый мой!» — «В-вот! Вот!!!» — говорил Алексей и швырял деньги пачками, п-пачками!!! Они разлетались веером и медленно, как стая маятников, туда-сюда каждый листок, опускались и, вздрогнув, ложились на пол, а он все швырял, швырял, к их ногам! К их ногам... Они стояли, жалкие, понурые, такие старые... Ему становилось вдруг их мучительно, до слез жалко — и он прощал их, ОН прощал их.

Ему представлялось, что поставлен огромный спектакль, потребовавший усилий всего мира, и он — главное действующее лицо. Будто он принц на самом деле, будущий властитель всей земли. Все это знают о нем, и все молчат, и продолжают разыгрывать этот спектакль для него. Словно бы надо воспитать его в неведении в этом спектакле и потом, в какой-то момент, объявить ему, кто же он на самом деле. Этот далекий финал, немая сцена — и все оказываются твоими слугами, подчиненными... И так далеко зашли их рабство и покорность ему, их властителю, что они сделали невозможное — ничем не выдали себя, выдержали чудовищный спектакль, целую свою жизнь. В этом представлении

больше всего удивляло его, как же они выдерживают. Ведь и прохожие и незнакомые ходят мимо и узнают его, но не перешептываются, не показывают вида; будто они и действительно не знают его.

Но конец пьесы суров, его нельзя нарушить, конец приходит, и тогда ему сообщают все то, что раньше скрывали, он становится властителем, а они, старики, вошедшие в роль до сумасшествия, не знают, что же им делать, когда роль окончена. Он жалеет, даже любит их и приближает к себе; все-таки они по необходимости бывали жестоки, а на самом деле они любили, тщательно скрывая, боясь гнева неведомого ему постановщика, и все-таки иногда даже нарушали текст... Ася же, ее, наверно, ожидает казнь, так она выдает ту настоящую жизнь, что за спектаклем... Поэтому-то так резко и мучительно срывается она временами, потому что все время не дается ей жестокая по пьесе роль, все забывает она роль и приносит с собой той настоящей жизни, что запрещена ему. Ей, пожалуй, очень достается за это на репетициях. Ее и терпят только потому, что никак не заменить ее кем-либо. А может, она и не отступает от роли, может, у нее такая и есть роль, последняя перед завершением и открытием ему всех тайн другой жизни, такая, как бы подготовительная к финальной сцене роль?..

...Так Алексей воображал себе. Он уже согрелся и покойно вытянулся. Словно бы растаял жуткий комок, что был у него под сердцем, и тогда Алексей смог выпрямиться. Так он отходил понемногу и еще что-то воображал. Потом и это прошло. Голова стала свободной, но уснуть он не мог.

Он ступал босыми ногами, пол был прохладен, это было приятно. Подходил к окну и отворял его. Воздух со снегом попадал ему на грудь и лицо — Алексей переминался у окна. Видел тот же фонарь, болтавшийся под крышей склада, но часового не было. Алексей постоял, дыша и глядя, но не насилывал себя: постоял, пока это было приятно, а когда стало зябко, окно закрыл. После этого он включил лампу и стоял перед книгами, не зная, что выбрать. Какая-то книга была нужна ему сейчас, и он шарил по корешкам, какая. Вдруг вспомнил о книге, которую читал лет в девять-десять и с тех пор не читал. Все эти годы он и не вспоминал о ней, но сейчас вспомнил то странное ощущение от книги... Он

вдруг стал уверен, что это ощущение сейчас необходимо ему. Удивляясь, что забыл на много лет и именно сегодня вспомнил, он рылся за книгами — она могла быть только там, потому что он не видел ее в первых рядах. Он рылся и вспоминал про книгу. Что в ней и о чем она, было не вспомнить, хотя он уже видел памятью и переплет ее, и страницы, и шрифт. Он вспомнил, что извлек ее из уборной, кто-то ее туда выбросил, и читал с таким неведомым пристрастием, тщательно, дословно, хотя ничего не понимал в ней. Но это непонимание было, он это помнил до сих пор, какого-то особого, притягательного свойства. И так, роясь за книгами, он вдруг нашел ее, сдул пыль, хлопнул ей по бокам так, что из нее вылетел шар пыли. Понял, что стынет, побежал к постели, с возней забирался под одеяло, с наслаждением, после еще большего холода простынь, с наслаждением и медленно согреваясь.

Оттаяв, он с любопытством раскрыл книгу, но внешний осмотр никак его не удовлетворил. Первых восемнадцати страниц вообще не было, последняя была девяносто пятая, но это не был конец книги, потому что в конце страницы стояла запятая. Он вспомнил, что внизу иногда бывает, через определенное число страниц, фамилия автора или название произведения. Но и этого он не обнаружил, а обнаружил, что и еще вырваны страницы: 33-я и 34-я, 49-я и 50-я, 65-я и 66-я, 81-я и 82-я. Единственное, что понял он, что книжка напечатана без ятей, следовательно, книга не старинная, хотя и старая. После такого осмотра он уже почти с исследовательским интересом стал читать.

Но — мало что понимал. То есть ловил себя на том, что уже прочел три, допустим, страницы, а ничего не запомнил, что читал. Проскользил взглядом по каждому известному вроде в отдельности слову, а что сказано ими всеми, от него ускользнуло. Так, начав с 19-й страницы, он запомнил самую первую строчку: «...которые никогда ничего не объяснят нам в жизни». И лишь через три страницы еще фраза остановила его: «И если мы опять заговорим о Боге, то не пойдем друг друга», — остановила лишь потому, что была последней для этих трех страниц, после нее следовал пробел и заголовок «Письмо второе». Он рассердился на себя за то, что, прочитав, не уловил смысла. Такое могло случиться над учебником, когда задумаешься или вообразишь себе



что-то, в то же время продолжая читать, но здесь — он же и не думал ни о чем и читал легко, почти с увлечением...

Он вернулся к началу, но понял едва ли больше. «Я старый человек и не имею права на слабость юности...» — кусочек фразы хоть и застрял в его голове, но не более как хоть какая-то информация об авторе, то есть, что он — старый. Возбужденность от находки и детских воспоминаний стала падать, а настойчивость — пропадать. Представление, вначале тешившее его, что вот тогда он ничего не понимал, а сейчас, поживший, так сказать, и умудренный, все поймет, обернулось досадой: казалось, в детстве он понимал больше.

«Письмо второе» было бесконечным, и он от фразы «Так на чем же остановиться, выбирая?» скользил, легко читая, почти что просто переворачивая страницы, и даже не заметил, что с 32-й перешел сразу на 35-ю — потери смысла в этом не уловил. Им овладело нетерпение, когда же это бесконечное письмо кончится.

Поэтому «Письмо четвертое» он читал с каким-то даже подъемом. «Но если вы уж настолько не верите, я готов доказывать на пальцах...» — начиналось оно.

Хотя и на пальцах, Алексей и тут не все понимал. Это было так: то все туман, туман, то разрыв и краешек неба. Это была не та, не нынешняя речь. Но он уже что-то ощущал в ней и запоминал ощущение. Получалось нечто вроде перевода на его, Алексея, язык, перевода с адаптацией. За исключением полных по непонятности провалов, в этой главе говорилось о том, что любовь в нас и выше нас, и если ты еще живой, то ты еще и любишь, а если любишь, то что же это такое и откуда это? Про желание и страсть Алексей все понял — это было действительно, как «на пальцах» — они были отдельны от любви. Про жалость было уже темновато. Чуть ли не выше любви оказывалась жалость, а потом все-таки ниже, во всяком случае любовь и жалость оказались тоже разные вещи. Больше всего заинтересовало Алексея рассуждение о ревности.

Ревность оказалась особенно ни при чем и даже противоположна любви. Вот мне кажется, что я люблю, говорил этот странный автор. Вот я хожу по пятам, преследую, обожаю, ненавижу, то жар, то холод, визнаю, требую, зову, мечтаю, что еще? Ревную, задаю вопросы, предъявляю права... И если я уж так теряю

лицо, то чего же жду, если разобраться? Только лжи. Потому что ложь — это именно то, чего хочу я в ту минуту, когда теряю жизнь и лицо. Но как бы я ни ревновал, всегда есть такой последний вопрос, которого я не задам никогда. Люди исподволь всегда боятся крушения веры и, в естестве своем, никогда не идут на это крушение. И тут — «даже в безверии пребывает любовь, как вера». «Это верно, — думал Алексей. — Со мной тоже так было в начале знакомства с Асей. Но потом я понял, что не следует задавать вопросов. Сам понял. А то бы не осталось теперь у нас ничего». Стал читать дальше — все путалось — про бога да про бога!.. И вдруг связь восстановилась. «Что такое гибель и крушение в любви для таких людей? — спрашивал автор. — Самоубийство и убийство?» Это трагедия все-таки заданного последнего вопроса: как ни избегал его человек, но он всплывал с неумолимостью, и вот он задан — и все рухнуло, не справился человек. И задавать-то этот вопрос было бессмысленно: человек все знал и так, но не позволял себе это знание. И был верен. Разве любовь имеет права? Разве виноват человек, которого мы любим? Зачем же это насилие? Разве мы хотим раздавить любимого, а с ним и свою любовь... Опять пошло про бога, и Алексей проскользил целую страницу. И вдруг: «Господи! Какие мы все маленькие!» — воскликнул странный автор. «Это так! Это так!» — радовался Алексей. Мы же не вмещаем в себя ничего, говорил автор. А если уж приходит любовь, то не остается и этого ничего. Есть любящие и есть любимые. Это не касты. Просто каждый кем-нибудь любим, а кого-нибудь любит. И тогда — каждый для кого-нибудь благороден и для кого-нибудь подл, для кого-то мягок и к кому-то жесток, для кого-нибудь велик и для кого-нибудь ничтожен, каждый кому-то лжет, а кому-то говорит правду и т. д. И все это «от малого помещения нашей души». Все это с тем человеком, который «не верит, но еще чудом не мертв, а жив». И такому я скажу: да откуда в тебе-то, крохотульке, любовь? Откуда она в тебе? Ведь не от любимой же, она же еще меньше, нет же исключительности такой, единственности в ней самой-то, нет — это ты принес. Ну, а если ты согласишься, что это не от нее, что просто был ты готов к любви — и она возникла, она была неизбежна, любовь, но случайна была та, которую ты полюбил, если такой ход мысли тебе ясен, то

давай пойдем: из тебя ли исходит это? А ведь и не из тебя. Ты-то ведь тоже крохотный: вот как в тебе ничего не осталось, когда пришла любовь... Ты и жесток и подл становишься, хотя и сам, может, не замечаешь, ко многим другим, до любви тебя окружавшим. То огромное, что есть любовь, не оставляет ни точки в твоём крохотном пространстве и даже разрывает тебя и гораздо превышает тебя. Ты становишься таким большим, каким никогда бы не мог без этого стать, а в том, чем ты был без любви, ты становишься еще мельче. Так как же из тебя могло возникнуть большое? Так что и не из тебя.

Дальше все сбилось, закрутилось... Оказывается, и то, о чем писалось,— это еще и не любовь вовсе. Это только, чтобы на понятном для людей в безверии языке сказать, это все на пальцах... А если говорить всерьез, то

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

это все было мимо, мимо.

Вдруг, словно бы без всякого повода, следовало описание прекрасного сада, но оно обрывалось внезапно, потому что тут как раз была вырвана страница.

...Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что понял, а что — не понял, про бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же? — очень поразило его.

# **ЖИЗНЬ В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ**

**(Дачная местность)**



Наконец они переехали.

Его привычно поразило, как разросся сад и как сам участок будто уменьшился, и дача, заслоненная зеленью, не показалась ему такой громоздкой, как в прошлом году. Деревья, недавно небольшие, нынче достигали окон второго этажа. Дача, все еще не достроенная, уже начала ветшать, сруб, так и не обшитый, почернел еще больше, и вся она, так нелепо и безвкусно торчавшая раньше, как бы обжилась, выросла и впервые понравилась ему.

Двери отворялись плохо, и в доме было полутемно, как вечером. Окна были забиты снаружи щитами, и солнечный свет, пробиваясь в щели, четко отделял одну доску щита от другой и так же аккуратно разливал пол.

— Сережа, если я вам больше не нужен, то я поеду... — неуверенно сказал отец, и по его тону Сергей понял, что отец колеблется между тем, чтобы остаться и помочь им в устройстве, и тем, что ему не очень-то этого хочется. — Я хотел бы вернуться, пока еще не очень много машин...

— Конечно, поезжай, — сказал Сергей, осторожно наступая на солнечную полоску. — Спасибо, что перевез.

Провожая отца до машины, он подумал, что дача, которая, по-видимому, никогда не будет достроена, как-то очень соответствует этой «декавешке», которая никогда не станет приличной машиной. Если у родителей жены был как бы загородный дом, то у его отца была как бы машина. Таким образом, наступало как бы равновесие.

Машина наконец завелась, и отец уехал.

Сергей вернулся в дом. Жена варила кашку сыну. Сын, стоя в кроватке, топал босой ногой и радостно протягивал неясно кому свой чулок. Сергей подумал о предстоящих ему таких простых и редких для него делах: раскупорить окна, наколоть дров, протопить дом, — и что-то растянуло его рот до ушей, та улыбка, которая рождается как бы помимо нас, которой мы не в силах сдержать.

Сон его не был глубок в эту ночь, как всегда на новом месте. Проснулся он рано и таким свободным,

что даже растерялся. Жена его, как и в городе, была прикована к сыну, и забот у нее даже прибавилось. У него же оказалось так много времени, что трудом было хотя бы прожить его. Переезд на дачу стал для него действительно переселением: изменились все параметры его существования, и время — в первую очередь. Слоняясь, он включал приемник: диктор объявлял программу передач, и та тщательность, с которой он называл время, вызвала у Сергея усмешку. Он взглянул на часы — они стояли. «Московское время ноль часов, ноль минут, ноль секунд», — сказал Сергей.

Изменились и расстояния. Ему вдруг не надо стало поспевать куда-либо к условленному часу, не надо стало ждать автобусов, которые то опаздывали, то не открывали дверей, — в своих передвижениях он уже полностью зависел от себя, и расстояния, которые в городе казались неизбежно связанными с транспортом, тут преодолевались только пешком. В этом смысле он внезапно стал владельцем личного транспорта — хотел ехать, хотел не ехать — выезжал из своего парка, когда ему заблагорассудится, и был в этом независим. Послонившись по дому и затопив жене плиту, он вышел прогуляться и, удивляясь этому новому способу передвижения, проложил маршруты к озеру и в магазин, и, когда опять очутился дома, было по-прежнему рано: в городе он бы еще спал. Эта чрезмерность предстоящего времени насторожила его. «Ну что ж, можно наконец начать работать...» — неуверенно сказал он и с необыкновенным тщанием, не жалея времени, даже как-то желая, чтобы оно побежало с привычной для него скоростью и перестало быть так уж относительно, принялся устраивать себе рабочее место.

Он выбрал второй, не достроенный еще этаж и внес туда стол, стул, нехитрый свой инвентарь. Времени за это время никакого не прошло. Оно по-прежнему представлялось ему штилевым морем, его необходимо переплыть, а плавать он словно бы разучился.

Он сел за стол, и ему стало скучно. Лучшего места для работы он не мог себе представить, и работать ему не хотелось. Четыре окна открывались на все четыре стороны света. Они были на уровне крон, и ветки, наверно, стучались бы в стекла, если бы их не отодвигали балкончики; ветки стучали разве по балясинам балкончиков, но этого уже не было слышно,

Так он сидел, неприязненно думая о работе, и вдруг обнаружил, что за окнами испортилась погода. Ветер с силой налетел на его этаж, все затрепало, заскрипело, казалось, тронется сейчас, ныряя, парусный корабль. Первые крупные капли ударили в северное окно, с ними налетел совсем уж шквал, листва деревьев, закрывавшая окна, вывернулась наизнанку, как зонтик, засеребрилась и словно заструилась. Сергей с удовольствием отдавался представлению, как взлетает его этаж, и тогда уже не ветер, а этаж понесся с такой скоростью, что рассекал воздух и образовывал ветер, — замелькали, проносясь в окнах, деревья, леса и горы, сливаясь в неразличимую полосу. Этаж гудел под порывами, можно было, слившись с ним, ощущать его напряжение, натяжку всяких там стропил, столбов, свай, которые Сергей называл про себя то мачтами, то струнами, в то время как все в целом он называл то кораблем, то органом. Каким-то особым уютом наполнялось от непогоды его обиталище, и ему уже ничего не хотелось бы ни изменить, ни поправить в нем. И торчащие ребра дома, и шлак под ногами, и паутина повсюду, и кучки запыленного мусора — все это казалось единственным решением.

Ветер вдруг спал, исчезло мелькание листвы за окнами, и по крыше загремел ливень. Сергей поднял голову и словно бы впервые увидел, что потолка над ним не было — была сразу крыша. Она то уходила вверх острыми углами, то приближалась к нему тупыми — это он называл про себя — сводами, тогда все его помещение обозначилось как собор, что уж совсем соединилось с представлением органа... Но этаж уже не гудел, так как не стало ветра, а брэнчала под ударами ливня крыша; ливень оказался крупным градом; подойдя к окну, Сергей увидел прыгающие на полу балкона градины и сказал себе, что они с яйцо, с куриное яйцо, хотя они были не больше драже. Звуки переменялись вокруг него, и помимо брэнчания шифера над ним он услышал другие, живые, как бы рвущиеся звуки и, обернувшись на них, увидел, что с крыши капает вода в расставленные там и сям поржавевшие баночки. Чувство постоянства и устойчивости приходило, глядя на эти баночки, уже не первый год стоящие тут как раз в тех местах, где протекает крыша. Ощущение этого всего могло оказаться началом его работы, но капли стали



попадать ему на стол, на бумаги, хотя и редкие капли, но крупные. Со столом в руках он бродил по этажу, приспособливал стол в разных углах, но и там понемногу капало. Он искал непромокаемое место опытным путем, как бы на ощупь, и уже почти нашел его, как услышал снизу крики жены, только что обнаружившей дождь. До этого она, по-видимому, спала, а теперь кричала, что у нее что-то промокнет в саду. Сергей спустился и, проворчав ей: «Всегда ты оставляешь все под открытым небом», — вышел в сад. Но дождь уже кончался, и Сергей вышел в сад как раз, чтобы увидеть, как тот внезапно оборвался: как покачиваются разбухшие, нового цвета листья, каждый лист более отдельный, чем до дождя, как этот лист вдруг начинает шевелиться в неподвижном и густом воздухе, словно оживая, выгибаться и распрямлять спинку и скатывать с себя большую алмазную каплю, как тяжелую ношу, вздыхая с радостью и облегчением и подставляясь только что выбившемуся и тоже словно бы посвежевшему солнечному лучу.

Так потекли дни. Время было неподвижно, а дни уходили. И странно было, оглянувшись, увидеть, что их прошло уже так много. И он никак не мог освоиться с тем, что прохождение времени можно было видеть только взглядом назад и только большими отрезками, тогда как в каждый настоящий момент было оно неподвижно. Работать он не работал. Ложась спать, он не понимал, куда девалось время.

Если в городе он каждое утро просыпался с ощущением, что вчера вечером был не совсем нормален, то есть болтал неведомо что, лишнее, личное, какие-то нелепые делал жесты и стыдные поступки (какие точно, было и не вспомнить, словно спьяну), если к нему каждое утро первым ощущением приходила стыдность вчерашнего вечера, и он тут же, одеваясь, отмахивался от этого чувства, и оно исчезало, и дальше следовал день, суетный и безотчетный, вплоть до «не-совсем-нормальности-вечером», и только искорка отчета должна была мелькнуть следующим утром и погаснуть, пока он натягивает брюки, — если в городе все было именно так, то за городом все было иначе.

За городом, в кругу семьи, на солнце, воздухе и воде, он, напротив, внешне успокаивался, молодец, в

общем начинал хорошо выглядеть. Тут был покой, а дела свои он очень толково успел все либо закончить, либо отложить — специально, чтобы хотя бы за городом иметь возможность спокойно жить и работать над тем, над чем работать считал он своим долгом.

В то же время он, маявшийся в городе, проклишавший суету и до тонкости знавший и любивший обличать всяческие ее оттенки, он, наконец избавившийся от нее и получивший все те возможности, которых не имел, вместо радости и деятельности ощущал лишь некую значительную пустоту, которую заполнить ему было нечем, потому что тем, чем он собирался ее заполнить, для чего он и старался эту пустоту создать, этим заниматься ему теперь не хотелось. К тому же он успел до некоторой степени устать от вечной борьбы и возни с самим собой, и следовательно, ему скучно уже было ругать себя за лень и безделье, обличать, бичевать и все равно не сдвигаться с места, после чего думать обо всем этом комплексе — и он не думал.

Временами он ощущал даже некоторое удовлетворение от этого своего состояния. Умом он уже давно понимал (это было очень похоже на то, как он ощущал и понимал суету, это были понимания, находящиеся в прямом родстве), что главное — это просто жить, быть живым, и поэтому, какое бы ни было твоё состояние — плодотворное, неплодотворное, — лишь бы было живое, без омертвений, а успевать... то что ж успевать: все равно неживой ты уже ничего не успеешь.

Это бездеятельное состояние открыло ему, например, что у него есть сын. Барахтаясь в море времени, он все больше сидел дома и постоянно видел рядом сына, существо столь совершенно живое, что становилось стыдно всего неживого в себе, а тем более такой неживой вещи, как фиксация и переживание в себе этого неживого. Такая своего рода оглядка и равенние на сына случалась и в городе, когда он, засученный и несчастный, после тормозливых встреч и длинных до потери реальности разговоров, внезапно обнаруживал себя дома и вдруг видел сына, о котором и не вспомнил за весь день ни разу, а тот расплывался, радуясь его приходу. Тогда он ощущал одновременно какой-то значительный прилив и отлив: прилив к сыну, отлив от своего дня. Но в городе это бывало как-то мельком, не входило в сознание, ощущение, и только, как-то быстро

привыкал он: ну да, пришел домой и тут его сын, — ничего удивительного.... И начинался обычный сумасшедший вечер.

За городом же то ли видел он больше деревьев и существ — коров и лошадей, телят и жеребят, — то ли воздух был здоровее, то ли больше сидел он дома и возился с ребенком, но на сына стал смотреть иначе.

Он думал о сыне, и вдруг становились понятны ему вещи, к которым он как-то, не заметив, когда это произошло, потерял вкус и чувствительность, вещи необыкновенно простые и бесконечные в своей простоте: радость и наслаждение, например. Иногда, томясь от безделья, вспоминая город, слышал он вдруг какое-нибудь глупое гульканье сына и тогда оборачивался и видел протянутую ручку и радость, раскрывающуюся на его лице оттого лишь, что они видят и узнают друг друга... тогда Сергей ощущал, как отлетает от него неживое его облако и что-то удивительно счастливое и легкое разворачивается в его груди, что можно назвать по-всякому и можно назвать любовью. Он бывал всерьез благодарен сыну, так щедро делившемуся с ним жизнью, излучавшему жизнь, и бессознательность этого дара не смущала Сергея в его благодарности, а скорее убеждала. Он удивлялся, глядя на сына, удивлялся наивно и простовато. И, приближаясь к истине примитива и к вере, даже добродушно не усмехался над собой, думая такие, например, вещи: откуда он взялся такой? Живой, и все у него уже есть? И руки, и глаза, и даже уши? И на него, отца, похож?

Знание того, как получают дети, не расхолаживало его, он отбрасывал это знание как ничего не объясняющее, и тогда еще больше удивляло его появление сына — откуда? Нет, если по-настоящему, до конца задуматься, то откуда? Или беспомощность и слабость сына поражали Сергея: что вот убить его ничего не стоит, одним пальцем, а жизни в этом тельце заключено! — где только помещается? Удивлялся молодости сына, нежности его кожи — какая же он по сравнению с сыном рухлядь! И требовательность бессилия поражала Сергея: вот ведь он не сомневается, что ему что-то нужно, ему — просто нужно, он — хочет, — и все подчиняются ему и подвластны, и лишь мнимая зависимость сына от них, его родителей: на самом деле родители от него зависят, подчиняются и исполняют, служат ему.

Каждый день Сергей гулял с сыном, катал его в коляске. Сын уже пробовал ходить, и однажды Сергей высадил его из коляски. Сын впервые стоял на земле. Сергей медленно катил коляску, а сын держался за коляску и впервые шел по улице рядом с отцом. Был ветер, и от этого небо казалось высоким, а солнце необычно маленьким и далеким. На лужке ворошили сено муж и жена, у которых они брали молоко, и их не то дети, не то внуки, не то дети и внуки их дачников куврыкались на сене; вдали гудела электричка. А Сергей шел так медленно, как никогда не ходил, потому что впервые рядом с ним, непонятно высоко поднимая неверные ножки, шел его сын. И может, оттого что так медленно, Сергей внимал и впитывал все вокруг гораздо сильнее, подробнее, материальнее, чем обычно, словно бы жизнь вокруг него или в нем во много раз увеличивала свою концентрацию на каждый метр пути, каждый вдох, каждый скворечник, или куст, или щепку в дорожной пыли... И вдруг сын пришел в необычное возбуждение и, забыв, что ходить без поддержки еще не может, бросил эту поддержку и шагнул совсем в сторону. Протягивая ручку к тому, что видел перед собой, он сказал все слова, что знал: «мама, папа, тапок, фу и всё». «Всё, всё, всё!» — радостно говорил он, обозначая то, что видел. А видел он кошку, которая перебегала им дорогу: существо незнакомое, но живое. Это была неинтересная кошка, некрасивая и степенная; она, видно, давно жила на свете и до нее не дошло излучение сына. Она не приостановилась и не припустила, столь пристальное к ней внимание нисколько не тронуло ее, и, удивляя Сергея постоянством и размеренностью движений, скрылась в кустах по своим делам. Сергей успел подхватить сына, шагнувшего столь самоотверженно в радости узнавания. И вдруг так ощутил и понял сына, как не чувствовал его никогда, и что-то давно забытое и ушедшее вспомнил о себе.

Да, никогда не видел он столько жизни, радости и наслаждения, так совершенно заключенных, так полно, что не плоть, а они казались основными материальными составляющими его существа. И тут Сергей удивлялся еще больше, вдруг обнаруживая в этом его столь радостном лепетанье, в глазах, столь ясных и любовных, и не радость вовсе, а грусть, грусть, заложенную самой природой, — ее лицо, одновременное с радостью.

Так сын уже помогал отцу переплывать время и причаливать к вечеру.

Все-таки то, что он ничего не делает, его очень терзало. Тогда он вспоминал о только что проклятом суетном городе как о некоей полной жизни, вне которой он и ничего-то делать не может. Тогда ему (поскольку это противоречило его загородной программе, он не всегда сознавал это конкретно) хотелось в город. И тогда как-то сами собой начинали вспоминаться недоделанные дела, может, и не такие значительные, но все равно, пока он их не доделает, они ему покоя не дадут и свободы своей он из-за этих пустяков не ощутит. И тогда он начинал (и это была почти деятельность) составлять списочки этих все выплывающих и накапливающихся дел и делюшек, с удовольствием, даже с любовью, приплюсовывая и совсем уж мелочи. Он переписывал эти списки в различных последовательностях пунктов: то по важности, то по времени, то по удобству маршрутов. Он развивал пункты и делал пометки в скобках: «не забыть спросить», «не забыть сказать», «сделать вид, что забыл». После чего он вспоминал еще одно, чуть ли не самое важное дело, и списочек приходилось переписывать заново, чтобы это дело заняло свой порядковый номер.

Понграв со списочками, он начинал объяснять жене, как ему необходимо съездить в город. Жена, конечно, говорила, что ему не надо ездить, что мало ему тут отдыха и времени для работы, что все это суета у него. Он сознавал справедливость ее слов, даже узнавал в ее словах свой и начинал, что совершенно естественно, злиться и, как ребенок, восставал не против смысла слов, а против логики, путем которой к этим словам пришли; именно она казалась особенно необоснованной, несправедливой и больше всего раздражала. Слово за слово, они немножко ссорились и разбегались кто куда: жена заниматься хозяйством, он — лежать где-нибудь на солнышке. Однако потом они, как люди любящие и слишком хорошо друг друга знающие, не помнили обид. Никто уже не спорил о поездке в город, просто с какого-то момента об его поездке говорилось, как о чем-то само собой разумеющемся, намечался день, жена постепенно вспоминала все новые и новые поручения: что купить, что привезти из дому, — списочек рос и становился уже совершенно невыполнимым для одного дня

пробывания. Это, впрочем, не смущало ни его, ни ее, потому что где-то обоим было ясно, что никаких-то дел нет, просто ему надо съездить в город, еще раз понять, что там все суета и бред, и вернуться удовлетворенным, заряженным и, может, начать что-нибудь делать.

Так оно и происходило. В городе он успевал выполнить какой-нибудь пункт из списка жены и полтора из своего списка и возвращался бодрый и злой и завтра садился работать. Завтра же он не садился работать, раскачивался. Раскачивание же, для которого внешним толчком был город, все затухало.

Когда все это приобрело устойчивый характер, закономерность с четко повторяющимся циклом, Сергей стал несносен. Если в городе он бывал в спокойствии и равновесии по утрам (именно тогда ему рисовался вчерашний день чем-то смутным, беспамятным и сумасшедшим), то теперь, наоборот, он успокаивался лишь к вечеру, просыпался же после слишком долгого, безвольного сна злым, психом, почти больным — доставалось жене. Это, по-видимому, было замещением работы, которую каждое утро надо было бы и начать. И лишь к вечеру, когда день уходил и можно было спокойно существовать с мыслью, что сегодня начинать что-либо уже не к чему, лучше завтра, утро вечера мудренее, он становился тем самым милым человеком, каким в сущности был. Утром же и днем он был настоящая фурия (именно фурия, потому что зол он бывал не по-мужски), все казалось ему злым умыслом, любое ничтожество: то ли носки, то ли бритва, то ли спички, — оказывали сопротивление, куда-то скрывались, острые углы появлялись там, где их никогда не было, что-то падало, что-то скрипело, комары нападали врасплох всюду, по всем щелям были рассованы мелкие преследования, подвохи, досады, все исподтишка, все вело с ним нелепую партизанскую войну. Все вызывало в нем протест, ненависть, негодование.

К концу дня он уставал от обилия раздражений, воспоминаний, ассоциаций, мыслей, идей. И тогда — тут не хватало только жеста бесшабашности и отчаяния, такого взмаха руки — он выдергивал из грудки идей одну произвольно избранную, обкатывал ее наспех, обсасывал слегка и преподносил за чаем жене, тем более испытывая возбуждение и волнение, что необходимо было хоть как-то избавиться от них. Идея бывала не-

дурна, но ничего не решала: в общем, стоя на довольно высокой ступени, она была с той же лестницы, что и любые досужие разговоры: разговоры соседей, родственников жены или отца. Возникла она, как правило, по внешнему поводу, например, политическому: тут можно было обобщать и нападать, гасить творческий пыл, успокаивать себя, чуть затрачивая и еще раз приостанавливаясь на трудном подъеме к работе и съезжая вниз по круче, чтобы завтра проходить и преодолевать тот же отрезок инерции и подъема, что и вчера и позавчера, может быть, плюсуя по сантиметру, но опять же добираясь до цели. Он брал газету, смотрел в нее, как в пустоту, и говорил, например:

— Не вполне ясно, какой смысл стали вкладывать в слово «формализм». Я еще понимаю житейское, теперь забытое, «он формалист в вопросах чести», например. Нечем отдать карточный долг — и пулю в висок. То есть неукоснительное следование неким принципам, правилам, формам, нам предложенным, в нас воспитанным, до нас существовавшим, следование часто даже вопреки здравому смыслу. В этом случае формализм нечто консервативное, давно существующее, устоявшееся до неподвижности. Тогда академизм — формализм высшей степени. В чем-то новом, только возникшем формализма быть не может — это новая форма. Может быть, формализмом называют неоправданность формы или, как говорят, несоответствие действительности? Но если буквально сравнить искусство с действительностью, то есть сравнить формально, то оно всегда было насквозь условно и никогда не было слепком с нее. Уже не говоря о том, что искусство само — действительность... Ведь даже такая очевидная, например, фраза: «Иван Иванович подумал то-то и то-то», — это такая уж условность! Почти абстракция. Кто знает, что он там думал!.. Само по себе настоящее искусство никогда не только не стремилось к условности, но вечно болело попыткой избежать ее. Освободиться от пут условности, окостенений, как раз того, что можно назвать формализмом, освободиться и приблизиться к живой правде — вот механизм рождения новых форм. Это просто освобождение от прошлых, тесных или неспособных выразить новое форм, раскрепощение, выход на простор, приближение к живому. Назвать это формализмом — все равно что назвать черное белым.

Идея бывала когда умнее, но когда и глупее, когда точнее, когда еще менее точная, когда своя, когда еще больше не своя, в среднем — такая. Выговорив ее, он постепенно возвращал себе чувство времени и места, расплывчатая во время речи комната как бы фокусировалась, и предметы становились видны отчетливо, с беспокойством вглядывался он в лицо жены и читал на нем одобрение идеи — тогда успокаивался и чувствовал некоторое приятное опустошение, словно бы после действительно дела. На сегодня закрыв эту лавочку, как бы загнав в загон все непослушное стадо своих мыслей, с лязгом сбросив решетку вниз и в последний раз взглянув через плечо на все это крошево, массу, мычащую и блеющую, возвращался он, как бы усталый и удовлетворенный, в свою хижину спать, не вспоминать ни о чем до утра.

Как-то он проснулся, и в тот же миг на него накинута мелкий и злобный, его раздробленный мир и вошел в него. Это случилось раньше, чем хоть какой-нибудь конкретный повод дал бы этому основание. Словно эта мелкая злоба стояла в изголовье, дежурила, караулила, ждала, когда он откроет глаза и otvorит душу. Ночью она, по-видимому, спала, свернувшись калачиком, рядом с его туфлями, как некое домашнее животное. Сергей почувствовал усталость и отчаяние. «Я поеду в город», — сказал он. «Когда?» — спросила жена. — «Сейчас».

Они поспорили — спорить с ним в эти дни не стоило, они покричали — начал плакать сын, они перестали разговаривать. Наконец жена захотела побыть одна, и Сергей получил разрешение ехать в город с тем непременным условием, что привезет из дому тумбочку, без которой жена как без рук. Разрешение, таким образом, было как бы не разрешением, а приказом привезти тумбочку, и это примирило жену. А Сергей уже весь был в городе, его бы не остановило даже поручение привезти сервант.

Так получилось, что, только он собрался идти на станцию, внезапно приехал отец и привез ту самую тумбочку, о которой речь. Таким образом, с одной стороны, ему не надо было ехать в электричке, всегда такой набитой, с другой стороны, отпадало согласие жены, потому что тумбочка была уже привезена, а нового задания, кроме тумбочки, не успело возникнуть. 199



Жена опять сказала, что нет у него никаких таких уж дел и что вообще надо еще проверить, зачем он так частит в город. Последнее она сказала зря, потому что в этом он был чист и теперь получил возможность возмутиться и ссориться с полным основанием. Преимущество было на его стороне. Жена проиграла битву.

Уехал он с облегчением. Ссора разрядила его. В груди он ощущал приятную пустоту, последовавшую за спазмой злобы. По корявому проселку они выехали к станции. Сильный ветер гнал по рельсам в город. Машина переваливалась, как утка, и ветер ее обгонял. Он увидел платформу, с которой словно сдуло людей. Только что ушла электричка. Картина была грустной и прохладной, успокаивала. Почему-то он представил себе девушку, стоящую на платформе спиной к ветру, ее фигуру, ветер прижал платье и пузырь юбки спереди, и волосы, вытянувшиеся вперед. Не жену. Лица ей он так и не подобрал. Девушки такой на самом деле не было, но она вполне могла бы и быть, так что воображение не рисовало ему ничего исключительного. От всей этой картины и от представления девушки на ветру во рту у него появилось какое-то кисло-сладкое ощущение, вполне соответствовавшее всему его грустно-сладостному сейчас чувствуванию, которое он назвал про себя «терпким».

Он вспомнил ссору уже вовсе спокойно. Странно, подумал он, с какой легкостью и убедительностью развеял я подозрения жены, хотя ничего и не стремился доказать, потому что доказывать-то действительно сейчас мне нечего — никого у меня нет. И как бы неуверенно и трудно было мне, если б я был в этот момент не чист. Главное, что оснований для подозрений в обоих случаях столько же. Но если б мне надо было что-то скрыть, мне бы самому показалось неубедительным, что я еду в город просто так, и я начал бы что-нибудь плести, будто скрывая, а на самом деле выдавая себя... Вся жизнь с людьми представилась Сергею конструкцией из подозрения и незнания, эта конструкция рисовалась ему какими-то переплетающимися стержнями, вроде арматуры, или густой сетью, в которой нити одного направления являются подозрениями, а поперечного — незнаниями, а когда эти нити пересекаются, в узлах... Он запутался, дальше образ не работал. Ведь мы же ничего не знаем друг о друге, продолжал Сергей,

даже прожив рядом сто лет, не знаем, только догадываемся, наши умозаключения — здания в воздухе, эти здания... Только кажется, что они о других, эти здания — о себе. Знать-то мы, конечно, знаем. Но почти ничего с материальной достоверностью зрения. И все нам хочется этой материальности, все-то мы допытываемся, отсюда и сомнение, из этого механизма — чтобы воочию удостовериться, чтобы пощупать. Ситуации стереотипны и повторяются без конца, каждая из них может читаться по-разному, каждая может вызвать подозрение, и лишь одна из множества имеет для этого основание. Из-за одного процента мы подозреваем все сто. Если бы мы были циничны циничным разумом машины, то никогда бы нас не разоблачили. Мы всегда выдаем себя сами, всегда притягиваем подозрение к себе тоже сами, хотя могли бы растворить свою вину в море точно таких же ситуаций, когда мы виноваты не были. И даже врать не пришлось бы. Но это вечночеловечно... Он снова вернулся памятью к ссоре и подумал, что жена, в общем, ничего и не подозревала всерьез, что она даже точно знала, что в город он едет просто так. Это она без повода, для оскорбления... Оскорбление ведь всегда необоснованно. Повода у нее не было, а причина?... Причину он, может, и чувствовал, но думать о ней боялся. А вот если бы действительно что-то у меня там, в городе, было, думал Сергей, уходя в сторону, было бы и она знала бы об этом, то ведь ничего бы ему не сказала, отпустила бы без ссоры, затаила бы, копила бы доказательства, и все их было бы мало, и все ждала бы следующего, решающего, после которого все станет ясно, а его, решающего, все не было бы и не было... Бедняга!

Машина вдруг, словно очнувшись, рванула вперед, ее перестало качать — они выкатили на шоссе. Навстречу шли из поселка на станцию люди, и Сергей удивился, что вот на станцию они идут и идут, а на платформе их нет и нет. Отец тоже приободрился на гладкой дороге, почувствовал себя свободнее за рулем. Навстречу пробежала собака, и отец сказал:

— А ты замечал, что все животные бегают немножко боком?

— Замечал, — сказал Сергей и тут же отметил у себя всегдашний тон недовольства в разговоре с отцом, то есть чуть-чуть его раздражило это «все животные»;

когда не все, а собака бежала навстречу. Но, поймав в себе это слабое раздражение, он уже думал об этом раздражении и судил себя за него. Конечно, отец всегда говорил по несколько неестественному ходу, то есть говорил не из потребности, а для разговора, причем это еще окрашивалось некоторой интеллигентностью и проникновенностью тона, так что не могло не раздражать. Но теперь он уже часто ощущал, что отец не может иначе и что страшноватое одиночество есть в необязательных его разговорах, когда отец за неимением общения стремится сохранить хотя бы символ его. Осторожно Сергей взглянул на отца, внезапно увидел, что отец очень стар, и щемящее чувство похожести, родства, неизбежности сходства тонким уколом прошло в нем.

— Сережа...— отцу хотелось поговорить. Но сын молчал, и начинать опять приходилось отцу и приходилось преодолевать неловкость начала ни с того ни с сего, потому что он не знал, что сказать сыну, чтобы разговор родился естественно; пришлось сказать: — Я вот вспомнил вдруг непонятно даже почему...— Сергей, продолжая ход сегодняшних чувств к отцу, расстрогался этим маневром и сказал ему в помощь, чего бы в другой раз никогда не сделал:

— Что же ты вспомнил?

— Ты не слышал никогда такую фамилию — Виксель?

— Нет.

— Ну как же... Известный ученый. Член-корреспондент?..— просительно сказал отец, но сын как бы не услышал вопроса, и отец продолжил: — Мы учились вместе. Тридцать лет его не видел, а третьего дня встретил... Большим человеком стал.— Отец вздохнул и снова сделал паузу для реплики сына.

«Тридцать третьего...» — пропел про себя сын и остался молчать.

— Так вот...— вздохнув, сказал отец.— Он по связи. Глава института. Его институт приобрел сейчас огромное значение...— Отец сделал таинственное лицо.— Потому что в этой войне самым ответственным будет не первый, а второй день...

Сергей усмехнулся:

— Это почему же?

— Видишь ли,— оживился отец,— я сам этого не знал, недавно где-то прочел.— Голос отца приобрел

плавное, почти лекторское течение. — Видишь ли, в первый день войны будет нанесен основной удар, а потом, собственно, и начнется война, на второй день, и тут... — Отец помялся многозначительно, и потом, словно прорвав плотину, слова потекли с еще большей легкостью и быстротой. — Самое важное и трудное — связь, так как не только армией, но и взводом командовать будет практически затруднительно — и все — связь! — потому что солдат от солдата будет отстоять, быть может, на несколько километров...

— Глупости, папа, — сказал Сергей беззлобно и мягко, сам удивляясь такому своему тону и что не заводится сегодня на такие речи, хотя обычно ему достаточно куда меньшего, чтобы вспылить и надерзить отцу.

— Почему же? — не то нападая, не то защищаясь, сказал отец. Вид у него был растерянный, словно он не знал, то ли ему обидеться сразу, то ли вынудить сына сказать что-нибудь очевидно обидное.

— Зачем же, — спокойно и ласково отвечал сын, — эта связь на второй день, когда в первый уже никого не останется?

Это не было похоже на обычный ход таких разговоров — перепалки не возникало — и отец потерялся, что ответить сыну.

— Да, если так... — неуверенно согласился он. И замолчал. И то ли обрадовался, что сын сегодня так сдержан и вежлив, то ли огорчился, что разговора не вышло.

Некоторое время ехали молча. Отец искал новую тему и, не найдя, взялся за самую острую и коварную: работу и дела сына. Сын же продолжал думать об отце в той же грустной и нежной тональности и вовсе не раздражался (что было уже абсолютным исключением из правил), когда отец вступил в его область и начал плести нечто несуразное, враждебное. А ведь обычно Сергей терпеть не мог неквалифицированных суждений, особенно у родственников и тем более у отца, который из какой-то вывернутой жажды общения говорил эти безразличные Сергею вещи совсем уж просто так, даже нарочно говорил. И об этом Сергей подумал: зачем отец говорит нарочно? Ведь его всегда очень расстраивает, когда сын дерзит в ответ, а уж на эти речи Сергей всегда ему дерзит, как мальчишка. Главное, отец все это знает, умный ведь человек... И одиночество еще страшнее становилось Сергею понятно, когда он

об этом думал. То есть за долгие годы отцу стало дорого по-своему сладкое чувство обиды: а что я такого сказал? Вот никто меня не... После этого отцу как бы можно было не думать о многом, снимать с себя ответственность и до тонкости вытренировывать свою слепоту.

Сергей обо всем этом думал, пока отец говорил ему спокойным голосом вещи, которые всегда раздражали сына и приводили к ссорам. Сын же думал, что эти всегдашние размолвки именно с отцом, а не с другими происходят лишь из близости и равнодушия, из желания равенства. А с теми, кто тебе равнодушен, просто и легко лишь потому, что обоснованно или нет ставишь себя над ними,— непонятное превосходство им прощаешь. Вернее, не замечаешь. А отец им не ровня, вот его прощать надо. Это еще детский атавизм — желание равенства. Равенства тут и быть не может. Тут обратное равенство, другая зависимость — отца от сына, и всегда, пожалуй, именно эта зависимость и была. И у меня с сыном так же, думал Сергей, и у меня...

Они ехали лесом, и дорога была безветренной, тихой: казалось, теплый летний день, — и вдруг выехали на открытое пространство. Тут были поля, пахоты, раздолбанный проселок мелькнул у косога сарая, и тощая корова покосилась налитым дикостью глазом из кювета, дальше поля обрывались, шли луга и жидкий кустарник, который во все стороны трепал ветер, и больше ничего, даже встречных машин не было. Ветер расчистил горизонт, и странно четко глядел вдаль синий лес, высотой с траву. Сергей лениво смотрел в окно и думал, что эта невыразительная пустошь необыкновенно близка и понятна ему. Какое-то ласковое, прохладное, успокоительное чувство поселилось в Сергее, когда взгляд его, не напрягаясь, скользил по этому ровному пространству, и ему почти не на чем было задержаться. Взгляд был как бы тонкой, вдруг ожившей нитью, связавшей Сергея с природой, — две чашки весов, висящих на нити взгляда: он сам и пустошь — на одном уровне, в полном равновесии... И растрепанная ветром трава, и ржавая в траве лужица, и одинокая корявая сосенка над ней — все было мило Сергею. Взгляд все скользил, не цепляясь ни за что — ему было просторно, это было сродни глубокому вздоху. Медленный, неразличимый переход оттенков зеленого, синего, серого, неуловимая, бледная красота пустоши входила в Сергея и наполняла

некой грустной радостью, приятным сожалением не ясно о чем. Именно эта прохладная красота казалась ему теперь самой подлинной. И еще недавно так не было, подумал он, еще недавно я мог сказать: какое скучное место! И тут он как бы с удивлением вспомнил, что пять минут назад они миновали прекрасный сосновый бор, из тех, что любил писать Шишкин, а Сергей даже не заметил его, как раньше не замечал пустоши. На яркую красоту, подумал Сергей, на то как раз, что обычно подразумевают под красотой, нужно мало опыта и много сил, чтобы воспринимать ее. Он вспомнил резкие цвета юга, так восхищавшие его в свое время — они показались ему неживыми, неподлинными, как бумажные цветы. «Я — северянин, — подумал он почти с гордостью. — Если я поеду куда-нибудь отдыхать, то в тундру... Непременно весной поеду в тундру!» — сказал он себе уже с возбуждением, бодро выпрямился в сиденье и покосился на отца.

Отец же, хотя перед тем привычно и бессознательно вел к тому, чтобы поссориться с сыном, вдруг обрадовался, что ссоры так и не произошло, и уже был благодарен сыну за это и любил его. Отцу приятно теперь было, что вот он сидит за рулем своей собственной машины, нажатой его трудом, хоть и маленькая, но не у каждого она есть, особенно нынче: нахальство как вздоржали, подумать только, «Запорожец», такая-то карафашка, и то... И вот он за рулем своей машины и рядом с ним сын, кто же скажет, что сын мало успел в свои годы. Я совсем еще мальчишка был в его годы, ни о чем таком не думал, а он такой уже талантливый человек, известен... И видно было, как приятно ему слышать из всей фразы Сергея, обращенной к нему, слово «папа» и как ему хотелось, чтобы оно звучало чаще. «Вот и я жду, когда сын мне скажет «папа», — думал Сергей, — вот и мне это необходимо...» Отец уже льстил сыну, и в этом еще раз было видно, как прекрасно он, в общем, знал, что сына раздражает и что сыну приятно. Потому что опять это были необязательные слова, которые принципиально не устраивали его сына, только теперь это были приятные сыну слова. Сын же понимал, что разговор ни в чем по механизму своему не переменялся, но уже думал: что ж поделать, форма разговора у отца такая неудачная, а суть самая прекрасная — любовь.

Так они ехали по ветреному ясному пустырю, и лес

синей низенькой щеточкой оставался на самом горизонте, когда шоссе стало забирать влево, лес стал приближаться, расти, тут и холмы появились, вверх-вниз пошла дорога. Потом начался длинный прямой подъем, и ничего не стало видно. Когда же взобрались, то оказались у железнодорожного переезда. Шлагбаум был поднят; будка глядела красным окном в сторону заката; рельсы, сходящиеся и исчезающие вдаль за поворотом, рисунком своим напоминали саблю: на острие мог показаться поезд, — и никого рядом не было. Ветер появился тут с новой силой и заметался по траве и кустам во все стороны, зашлепал по стеклам, как град пощечин... Этот переезд, нарушая ощущение времени, был длительным впечатлением. И Сергей смотрел теперь теми же глазами, какими увидел пустую платформу в начале их путешествия. За переездом они увидели лес совсем рядом, за лесом угадывалось начало пригородов.

Тогда, посмотрев поверх леса с тем чувством, что рождал в нем переезд и открывшаяся с него картина и метавшийся вокруг ветер, посмотрев печально и лениво, он увидел вдруг, как над лесом встает ни разу не виданное и такое знакомое, бесшумное клубастое кольцо на тоненьком сером стебельке и раскрывается, как бутон, и медленно ворочается в нем густой, как каша, огонь. Отец и не мог бы этого видеть, был прикован к дороге, и тогда сын, голосом, поразившим его самого тем странным спокойствием, от которого и родился страх, проговорил: «Война, отец».

Тут следовало бы резко затормозить, развернуться и мчаться назад, от города, за сыном и женой... Сергей представил себе, как едут и едут они вчетвером по пустым дорогам, все дальше и дальше от мертвого города... Но нет, ударная волна настигла бы их у этого переезда, они не успели бы и развернуться. И машина бы полетела, как пылинки, и они в этой пылинке уже и ничего бы не чувствовали... Радиус действия... Разве, что успели бы остановиться и выпрыгнуть, упасть лицом вниз в канаву за обочиной. Крутятся в воздухе, вспорхнула бы над ними их «декавешка» или, с неверной легкостью сохраняя ориентацию в пространстве, проплыла бы над ними будка с переезда, и лишь потом вылезли бы они из канавы в странную и пустую тишину, даже при свете рождавшую ощущение темноты уже вечной, уже как бы отсутствие сторон света... Но нет...

Это представление протекло в Сергее мгновенно и спокойно; в разное время оно случалось с ним неоднократно, теперь потеряло остроту, было привычно и не пугало. Оно было мучительно когда-то: тогда, во время продолжительных и не по своей воле разлук, означало гибель всего ему дорогого в далеком родном городе и его пустое и ненужное спасение. Теперь же, вдруг почувствовав край привычной лунки, выдолбленной мучительными когда-то представлениями, он легко скатывался в нее: удобно, не задерживаясь в сознании, в один миг, перед ним проходило несколько картинок — и все... Они ехали в той же машине, по той же дороге дальше. Если бы он зафиксировал, остановил это представление в себе, то вряд ли что-либо поразило его в нем, кроме банальности, и самым сильным чувством было бы облегчение того рода, что ничего у нас на лбу не написано, и по крайней мере, хоть некоторые глупости не становятся видными и не приходится краснеть за них... Но машина уже выезжала из леса, проскочив его непонятно быстро, потому что по ощущению, возникшему из того, как долго синел он на горизонте и как долго они к нему подъезжали, лес должен был быть значительно бесконечней... А они оказались уже у развилки, около поста ГАИ, и, свернув еще раз налево, стали въезжать в пригород.

Отец, как всегда, сжавшись, уничтожившись, миновал ГАИ, и, когда красные мотоциклы, пасшиеся у обочины, остались за спиной, воспрянул, выпрямился, стал неестественно молодцеват, обругал гаишников и, попав в свою, тоже привычную, совсем уже беззубую от частого употребления лунку, продолжал говорить о них в повышенном тоне, требовавшем сочувствия и осуждения со стороны сына; сын легко и охотно соглашался и поддакивал, благо предмет разговора был ему равнодушен. Отец же снова стал благодарен сыну, отец косился уважительным, как бы оценивающим взглядом на сына, словно еще и еще раз с удовольствием отмечая, что его высокая оценка нисколько не завышена, а скорее занижена... Сын видел в зеркало, как посматривал на него отец, и делал безразличное лицо, важнел.

— Ты уже седеешь... — говорил отец (эта фраза всегда означала окончательный мир и признательность и, неведомо почему, всегда была приятна сыну).

— Да, — небрежно говорил сын, — уже давно.



И в этот свой приезд Сергей, как и прежде, ничего не успел, с особой силой ощутив бессмысленность и ненужность тех якобы дел, что привели его в город. Весь день он носился с места на место, кого-то заставлял, кого-то не заставлял, с кем-то встречался лишь для того, чтобы назначить следующую встречу, тоже ненужную, и вдруг осознал себя, как бы вдруг обнаружил в длинной узкой комнате почти без мебели, среди незнакомых людей. За окном было темно, Сергею давно уже пора бы было вернуться на дачу, жена там нервничает и злится, и он тут совершенно ни к чему... Три милых незнакомых девушки сидят на полу на каких-то циновках, поджав выразительные свои ноги; незнакомый длинный парень торкает пальцем в клавиши магнитофона; еще один парень, хозяин, этот-то хоть знаком — одноклассник, не видел его лет сто и, надо же, сегодня встретил — он бродит по комнате и то гасит свет, и тогда остается гореть лишь зеленый магнитофонный глазок, то снова зажигает, и все жмурятся растерянно и кажутся неестественно бледными; и единственная бутылка водки выпита; и папиросы кончились... А Сергей сидит в своем углу на стопке книг в непонятной тоске, и никак не стронуться ему с места, хотя давно уже пора схватить на дачу, сидит — словно ждет чего-то. Его тоска стыдновата и сладковата и напоминает что-то — неясно что, как на первых школьных вечеринках с девушками. Одиноко — и не уйти. Хозяин снова зажег свет и извлек откуда-то воздушный пистолет. Началась стрельба по мишени — мишенью была обложка немецкого журнала — на обложке был динозавр. Сергей вдруг увлекся необыкновенно, с детским возбуждением вырывал пистолет: «Дайте мне! Дайте мне!» — и потом все никак не мог отдать следующему: «Еще один выстрел! Еще один!» — «Вот, — смеялся приятель, — так и со мной было... Как достал этот пистолет — так и стреляю с утра до вечера, до полного маразма. Все время на это уходит. Хоть бы забрал его у меня кто». — «Отдай мне», — с детским жаром сказал Сергей. Приятель тут же стал отказываться. «Ну, отдай... — не отставал Сергей. — Ну, на время. Я верну. На несколько дней — и я верну... Ты же все равно собирался ко мне на дачу — вот и заберешь...» Наконец приятель словно устал, холодно и высоко подняв брови, согласился. Сергей, тут же схватив игрушку, ушел, едва попрощавшись.

Приехав на дачу, он не показал пистолет жене — лег спать. А наутро, скрыв его под полой, пронес к себе наверх. Сергей долго любовался им, потом с удовольствием переломил ствол, ощущая сопротивление пружины взвода и прокладку стали, вложил туда свинцовую пульку и выстрелил в стоявшую на полу ржавую банку. Попал. Сергей долго расстреливал баночки, расставленные на случай дождя. Баночки брэнчали и подпрыгивали, пульки отскакивали в разные стороны. Сергей ставил баночку на баночку и наверх еще баночку — баночки раскатывались по полу.

Тихо подкралась жена, привлеченная непонятными звуками. Удивилась. Постреляли вдвоем.

Сергей ползал по полу, собирая пульки. Они все закатывались и исчезали. С каждым разом их становилось все меньше.

Так прошел день.

На следующий день, постреляв еще немного с утра, Сергей смог найти лишь одну. Выстрелил ею — не осталось ни одной.

Сергей спускался вниз, бессмысленно бродил по саду. Снова поднимался к себе наверх, снова доставал пистолет и долго разглядывал его, поглаживая тускнеющую воронепую поверхность. Устремив взгляд в северное окно, задумчиво подносил пистолет к виску. Ствол сразу находил свое место, попадая в некую ямку, словно для него созданную. «У каждого мужчины, — вдруг вспомнил он смешные слова их взводного, — есть в плече природная ямка для приклада». Хмыкнув, Сергей опускал пистолет, ощущал еще некоторую секунду на виске холодный кружок. Сергей переломил ствол — зарядил пистолет без пульки. Снова поднес к виску и медленно спустил курок. Раздался пустой хлопок, и Сергей ощутил небольшую боль. «Игрушка, — тупо подумал Сергей, вертя перед собой пистолет и оглядывая его с удивлением и недоверием. — Игрушечный пистолет... И игрушечный мой висок. — Взгляд скользнул на стопку чистой бумаги. — И игрушечный мой стол. — Сергей посмотрел вверх, на крышу. — И игрушечный дом». — Оттуда, сверху, упал паук и закачался перед носом, прыгая вверх-вниз. «Игрушечный паук», — сказал Сергей вслух.

Сергей встал и долго бродил с пистолетом, висевшим в расслабленной руке, по своему этажу. Он засу-

нул пистолет под кучу тряпья в углу, взглянул на эту кучу как бы с удовлетворением, и тут же совершенно о нем забыл.

К удивлению жены, Сергей вдруг стал тих и ровен. Он бродил по дому в необычной рассеянности и на вопросы отвечал не сразу, словно приходил на зов издалика. Натыкаясь на что-нибудь, он уже не злился, а растерянно и виновато улыбался. Его мучило многообразие замыслов, и он никак не мог решить, что чему для начала предпочесть и за что взяться. И если он усилием заставлял себя останавливаться на чем-то одном, произвольно взятом, то опять он не знал, с чего начать, слишком много вставало перед глазами, слишком его распирало — так получилось, что все его мучительное безделье вдруг оказалось чрезвычайной полнотой. Временами он отвлекался и тогда начинал испытывать нежность ко всему, начинал жить. Эта радость передавалась жене, и они становились тогда необыкновенно признательны друг другу.

Когда он наконец сел за стол, была суббота, дело клонилось к вечеру. Это вышло неудачно, потому что в субботу приезжали родственники, на воскресенье. Его уже лихорадило, мысли толпились, отчаяваясь избрать последовательность, он решался наконец, бросался, как в холодную воду, — и тогда оказывалось, что хаоса не было, хаос обращался мощностью, все становилось взрешшим, необходимым и единственным, и он плыл, плыл... когда что-то заставило его взглянуть в окно, и он увидел, что по дорожке идут улыбающиеся родственники. Он посмотрел на них, не узнавая, словно бы оставаясь для них невидимым, но они его уже видели и махали руками. Когда же он услышал внизу всплескивания и восклицания и ему надо было бы тоже стоять сейчас в дверях и приветствовать, мысли его стали разъезжаться, и стройность их покинула. Какое-то мгновение он пытался насиловать их: сдержатъ, не отпустить, — но они разъезжались. Он ощутил это физически, как в мозгу, в его коробке, расплзается мысль... и, больше не пытаясь что-либо восстановить, поспешно спустился вниз.

Он стоял в дверях, ласково и тихо всем улыбаясь, пока родственники разгрузались в сених от всех своих

кульков и свертков и обменивались с ним и его женой какими-то не совсем ясными и слишком радостными восклицаниями. «Ну, как работается?» — только и разобрал он. Это был тесть, кто сказал ему такое. Сергей усмехнулся: «Ничего...» Однако усмешка его была лишена яда, он теперь не злился — и это тоже было последствием его бездеятельной полосы, когда он убедил себя в том, что никакой исключительностью ни перед кем не обладает и занятие его такое же, как все другие, и делать из него культ не пристало. К тому же его не покидало ощущение, что теперь-то он начал и продолжает сколько его ни прерывай, что дело уже пошло. В общем, все было ничего, хотя физически он чувствовал себя неважно: бил озноб, болела поясница — неутоленное желание. Ну что ж, они-то не виноваты, все равно приехали бы — он забыл...

Разгрузившись, они прошли в дом.

Сергей беседовал с тестем на фенологические и политические темы, заваривал чай («Как это ты умеешь так замечательно заваривать!» — восторгалась теща), оказывал внимание: долг гостеприимства — он его выполнял. Тут была путаница, кто гость, кто хозяин: хозяева дома приехали как гости, и он, гостивший в их доме, принимал их сейчас как хозяин. То ли поэтому, то ли потому, что отношения были родственными, но не кровными, жизнь в доме превращалась в громоздкий и уродливый ритуал.

Чаепитие заняло всю оставшуюся субботу. Все подливали друг другу, передавали друг другу тарелочки и ложечки, вот это печеньице или вот эту конфетку, время от времени кто-нибудь уносил чайник, чтобы долить его и чтобы чай был горячий, и это было недолгой передышкой, привалом, а потом все начиналось с новой силой. Еще больше становилось непонятным, кто у кого гость. Но тут, к счастью, и пора было спать.

Воскресенье уже ни на что похоже не было. Замаскированная война протекала на кухне, около детской кроватки и в саду. Все осложнялось, запутывалось этикетом, вежливостью и добрым отношением друг к другу — все это служило чем-то вроде боевых щитов или укреплений — троянский конь с расположившейся внутри коммунальной квартирой, свара, запеченная в слад-

кое тесто. Завтрак еще сошел сравнительно легко, но только потому, что впереди был обед, куда стягивались все силы и резервы. С приближением обеденного часа война переходила в битву, а битва в побоище. Сын, которому все уделяли любовное внимание, то попадал в плотное окружение, где все вырывали его друг у друга, воркуя, то все покидали его, и он оказывался без присмотра. Именно так получилось, что никого не было рядом, когда он достал пудру жены, рассыпал ее, размазал и частично съел. И тогда мать и дочь, жена и теща, мать и бабушка — все они немножко поспорили, кто в этом виноват.

Наконец и обед ушел в прошлое, родственники стали собираться в город, и Сергей, усталый и сытый, напуганный предстоящим последним сражением, которое называлось сборами в дорогу, попросту бежал, объяснив это тем, что сын до сих пор не гулял.

Он сажал свое дите в коляску и катал его по поселку. За воротами дома ему сразу показалось, что еще суббота и никакие родственники не приезжали и не приедут. Он снова ощутил в себе то дрожание, которое жило в нем вчера на втором его этаже, мир, который возник в нем тогда — запульсировал, ожил, подхватил его и понес, он с радостью ощутил это плавное покачивание и, как всегда, с удивлением и восторгом подумал о том, что это у него не оборвалось, не кончилось, что такое еще может с ним быть. Он с нежностью подумал о жене, даче и родственниках и взглянул на сына. Тот сидел в коляске, толстый, уцепившись за поручни, и смотрел на мир. О чем он думает? Ведь он думает... «Есть три вещи, — рассуждал Сергей, — которых не знает никто, и все, что мы о них знаем, всего лишь наши или чужие воображения, столько раз утвердительно повторенные в форме уже суждений, что как бы действительные... Это — что и, главное, как думает ребенок, потому что он еще и говорить не может и не запомнит, как он думал; что думает человек в последний свой миг, когда в нем обрывается жизнь и он уже никому ничего не расскажет, и третье, и это на каждом нашем шагу, что думает человек, Икс-Имярек-Иванов, который другой, не ты...» Сергей катил коляску по неровным неловким улочкам и не столько сам смотрел и видел, сколько смотрел, как смотрит и видит его сын. При незнании того, что думало его дите, совершенно опреде-

лешная связь, казалось ему, устанавливается между ними. Причем скорее в этой связи в подчинении находился он, а не сын, скорее он видел глазами сына. Со вчерашнего все виделось ему острее, но с сыном, с его глазами, вроде и еще обострялось.

Он водил сына по поселку, как по огромному букварю... Они видели речку, он говорил сыну: «Видишь, речка?» — сын смотрел на речку, Сергей говорил: «Это реч-ка», и это была действительно речка. Он говорил сыну: «Вот коза», и это была действительно коза. Он говорил сыну: вот дерево, вот мальчик, вот дом, — и все это было действительно так, как он это ему говорил. Сергей бы не мог сказать сейчас в словах, в чем дело и что с ним творится. Он ощущал нечто гениальное в этой назывной простоте вещей и слов, и ему казалось, он находится на каком-то высшем пороге, за которым-то все и начинается, и что на этом пороге новой логики, нового мышления, нового мира, наверно, что редко кто стоял. Он видел корову. «Вот корова, а вот ее сын — теленок», это все было так, а дальше, за коровой, был болотный луг с такой ровной и молодой зеленью, что казался чем-то, чего нельзя потрогать, излучением, что ли. На лугу еще росли странненькие цветы в виде белых ваток, словно всплывших на зеленую, густую и воздушную одновременно, поверхность. Луг был пуст, и только где-то в центре его маленький мальчик, уменьшенный расстоянием, стоял нагнувшись, по-видимому, рвал эти белые цветки, а издали казалось, что и не рвал — гладил неощутимую, как небо, поверхность луга. Он стоял там, не боясь промочить ноги, босой, по-видимому; не боясь провалиться: там же, под ковром, трясина, — слишком легкий, по-видимому; а за лугом шла насыпь, и, продудев, с забавной старательностью, то скрываясь за кустами, то вновь появляясь, спешил, чухал паровоз; он работал суетливо и старчески, маленький в отдалении, а за ним, до странности не совпадая с его торопливостью, тянулся бесконечный состав. Хоть и далеко, все было очень хорошо видно, как и вообще в последние ветреные дни, каждый вагон виден или платформа. Сергею хотелось пересчитать вагоны и лень было считать, и он не считал вагоны. Вот луг, вот мальчик, а вот поезд... И это все было действительно так — и луг, и мальчик, и поезд, еще корова с теленком, и он с сыном... все это на какое-то длящееся мгновение, сов-

пав на одной прямой, образовало как бы ось, и в этом была словно бы самая большая правда из всех, что он с упорством искал или находил. Симметрия, казалось бы, случайная, при которой сын тянул руку в направлении поезда, и корова жевала, стоя головой в противоположную сторону, чем шел поезд, и луг, и мальчик, гладивший луг, и поезд в конце концов, и все это как бы на одной оси, совпавшей с взглядом и ветром, объединенное куполом неба, как легатой, и замкнувшееся в нем, Сергее, и как будто бесконечное продолжение оси за видимые пределы — ощущение этой симметрии было из чувств самых счастливых. Это был пик, вершина, взрыв, и в следующий миг то ли поезд уехал, то ли мальчик сошел с места, то ли корова... ось распалась, и Сергей ощутил блаженное опустошение: он существовал теперь и в этой зелени луга, и в том мальчишке на лугу, и в поезде, уезжающем от него, и в небе, и в сыне, в каждом и во всем. Жизнь его, взорвавшаяся, разбрызганная, как бы разлилась и наполнила все содержанием и жизнью. Он чувствовал себя богом, нигде и во всем, обнимавшим и пронизывающим мир.

Он обнаружил себя вдруг стоящим около тысячу раз виданного луга, держащимся за коляску, и сын его лепетал что-то. Тогда — как бы обратным движением киноленты, на которой отснят взрыв, когда назад летят все осколки, и дым и пламя текут назад, сгущаются и уходят, как джин в бутылку, и остается ровное пространство, словно ничего и не взрывалось, Сергей выделил себя крохотной точкой в пространстве и был как бы пьян. Он возвращался назад, катил перед собой свое подобие, свои глаза, свою радость; отворял калитку и шел по дорожке сада; поравнялся с клумбой (из всех клумб она была наиболее случайной, с тарелку величиной, притулившаяся у самой дорожки, потому что создана была только что и сверх всякой планировки). Его теща, мать жены, бабка сына создала ее сегодня по неясному вдохновению, приговаривая: «Внучкова клумба, внучкова клумба». Это был сентимент, но сентиментальность в отношении детей перестала казаться Сергею чем-либо предосудительным, когда появилось свое дите, наоборот, была чем-то правильным и понятным. Они поравнялись с клумбой, и Сергей сказал: «Вот клумба, это твоя клумба, это твои цветочки...» Он приостановился, присел на корточки, нагнул какой-то

желтый, в висюльках цветов, и названия его не мог вспомнить. Нагнулся, чтобы тот был поближе к сыну: сын сразу потянулся к цветку руками, ручками, «ручками», пальчики-лепестки, своими лепестками, лепесток — к лепестку, потянулся и приостановился, не решаясь потрогать. Это желание и боязнь, эти руки умилили Сергея, и он сказал: «Вот цветочек, он такой же, как ты, это твой брат...» Он не был совсем уверен, правильно ли он назвал цветок «братом», и пробормотал «это твоя сестра»... И тогда, разрушая и разрывая все, мелькнула мысль, что кто-нибудь за ним наблюдает, он сделал вид, что нагнулся, чтобы извлечь сына из коляски и, когда выпрямился с сыном на руках, то увидел на крыльце улыбающегося своего приятеля, и тут вспомнил с недоумением, что сам же приглашал его приехать.

«А я не один», — сказал приятель и показал рукой на веранду, где Сергей увидел свою жену. Он ничего не понял, но тут из-за жены выглянула девушка, в которой он признал давнишнюю свою знакомую, и она ему улыбнулась и помахала. Они с приятелем тоже прошли на веранду, Сергей передал сына жене и, пока все возбужденно переговаривались, переживая встречу, он думал о том, что вот знал их хорошо порознь, приятеля и приятельницу, но никогда не видел вместе, а тут они приехали вдвоем и что бы это значило? И ему показалось, что это они — не «просто встретились на платформе». Сын заплакал от обилия незнакомцев и необычного шума, жена сказала, чтобы все шли к Сергею наверх, что она тоже, только накормит и уложит сына, присоединится к ним.

Поднявшись, все повосхищались его вторым этажом — его кабинетом с паутиной: приятель — впрямую лъстя, хотя и с этакой дружеской грубоватинкой, она — так, как ему бы это больше всего понравилось: не высказываясь, а просто окинув все взглядом согласия и удовлетворения, словно она и раньше хорошо и с интересом обо всем этом думала, о Сергее и его загородном житье, и довольна теперь, что все так и оказалось и ее разочаровало ее, и сам Сергей, взглянув на все их глазами, был доволен и своим этажом и собой.

Хотя обращался Сергей в основном к приятелю, а приятельница молчала, она все больше занимала его внимание. Время от времени он поглядывал, как она



взяла что-то с его стола и разглядывала, а потом положила на место, как она прислушивалась к разговору, как двигалась, аккуратно обходя паутину, и как улыбалась. Была в ней какая-то свобода и смущение одновременно, что сообщало ее здесь присутствию оттенков заинтересованности, большей, чем любопытство, и эта заинтересованность льстила Сергею. И было в ее движениях что-то от такого приятия всей обстановки и Сергея в том числе, что сразу естественным и вечным показалось ему ее существование тут и как будто она должна была бы остаться, а приятель — уехать. То, что Сергей никогда не видел их вместе и не слышал об этом, воскрешало в нем детское ощущение присутствия любовников, забытое и таинственное. Такое, например, было, когда старший брат собирал у себя компанию, и Сережа, притихший, сидел в углу и пытался понять, кто из этих красивых девушек имеет отношение к брату и вообще, кто с кем, а потом его отправляли спать, а он не спал, прислушивался к шуму в соседней комнате и вспоминал ту девушку, что подошла к нему: «Это твой брат? Какой славный...» — и погладила его по голове, он не спал и высчитывал, насколько он ее младше и сможет ли он жениться на ней, когда вырастет, и приходил к выводу, что, конечно же, сможет, что разница в семь лет — чепуха. Или другое ощущение, когда он был уже постарше и был готов к любви — вдруг от каких-нибудь двух людей, сидящих за общим столом, не тех, что шумно подчеркивают свою связь и находят в том сладость, а других, молчащих, сидящих порознь, у которых тайна, сговор, телепатия, и нет у Сергея никаких тому доказательств, но это — так. Как в детстве невозможным, высоким, недостижимым счастьем казалась ему такая связь двух людей в море жизней, отдельных друг от друга, так и сейчас, не так сильно, но затеплилось что-то похожее, и было в этом настоящее.

Кроме того, глядя на нее, ему начинало казаться, что он был с ней когда-то, что-то между ними было, и сговор повисал уже между Сергеем и ею, над приятелем. Ощущение было хорошим, немного тревожным, потому что и действительно начинала вспоминаться какая-то облезлая комната, и сумерки в ней, и пепельница из консервной банки на подоконнике. Было или не было? Приснилось, может? Да нет, не было, не за-

был бы; придумал, пожалуй... Но нет, какое-то согласие, какая-то нить уже протягивалась между ними, и оба ощущали ее, он знал: и она тоже. Но это не было все-таки просто симпатией, что-то было с оттенком воспоминания, и он никак не устанавливал что.

Они поболтали в его кабинете и вышли на балкон. Низкое солнце осветило их сбоку. Длинные косые тени балясин устраивали свою геометрию на полу. Ветер, сильно дувший третий день, трепал деревья, но балкон был с подветренной стороны, и ветер не попадал сюда, только все время был ощущим; слышен и виден. А они сидели на теплых от солнца досках и продолжали свою беседу, не запомнить о чем. Рассказывал приятель. Сергей и слушал и не слушал его. Появилась жена, которая наконец усыпила сына. Но это не прервало ощущений Сергея, а даже усилило их. Связь между ним и девушкой не рвалась, он чувствовал ее натягивающуюся, и нечто необычное казалось ему, слегка романтически, в том, что они не делали никаких видимых усилий для ее поддержания, ничего специально направленного, взглядов вроде не было, поз, и чувство, близкое благодарности, возникало в нем за то, что она не сделала ни одного движения, способного оборвать их нить. И счастьем казалось то, что не было растущего возбуждения и напряжения, все оставалось незамутненным, их связь усиливалась словно помимо их желания, и они как будто даже приглушали ее. И из этого рождалось в нем чувство легкости и естественности, чего-то такого редкого, после чего не будешь чувствовать ни раскаяния, ни стыда. Словно все уже было, но ничего, кроме легкости и благодарности, не осталось в последствиях, а уж легко ему бывало мало когда, да и не бывало.

Они мило поговорили, то да се. То было об однокашниках и знакомых, кто кого видел, но никто никого не видел: каникулы. Или, о делах, что на что похоже в свете сегодняшнего дня, но ничто ни на что похоже не было, да и дел не было: каникулы.

Они уже исчерпались и стали понемногу испытывать неловкость, молча разглядывать вид, открывавшийся с балкона, мало, впрочем, занимательный, когда приятель сказал, что вот она, имея в виду приятельницу, напрасно хочет утаить от всех те прекрасные песни, что привезла откуда-то. Пусть споет, пусть споет, попросили они.

«Я их и не таю, я спою», — сказала приятельница. И она спела просто и не натужно, даже интересно спела, словно пользуясь тем, что у нее нет голоса и обыгрывая это. Сергей совсем растаял, потому что решил, что пела она для него. Из трех или четырех песен, которые и на самом деле были хороши, он почти ничего не запомнил из-за этого. Только начало одной. Эта песня даже отвлекла его от сладких воображений. Двусложные слова в конце каждой строки пелись с двойным ударением, отчего слова эти казались разбитыми, как бы черепками слов-рюмок и слов-чашек. Это придавало песне еще более диковатый характер, чем странный текст, ускользающий мотив и отсутствие рифм.

Какой большой ве-тер  
напал на наш ос-тров  
и снял с домов кры-ши,  
как с молока пе-ну...

Песни были спеты — они опять молчали. И когда внизу закричал сын, все услышали это как бы с радостью, вскочили, с удовольствием разминаясь и потягиваясь, и заговорили, слишком громко и оживленно без всякого перехода от молчания.

Сын сразу же успокоился, увидев людей. Вышло, что кричал он лишь потому, что желал общества. Общество он получил и даже к незнакомцам отнесся теперь благожелательно. Он ходил по комнате, попадая из рук в руки, собственно, не попадая, а как бы падая из одних рук в другие, потому что между тем, как кто-то его отпускал, а кто-то подхватывал, был один его самостоятельный шаг и тот был падением.

Так, увлекаясь и радуясь вместе с сыном, Сергей вдруг обернулся, словно на звук, и поймал взгляд девушки. Взгляд, как ему сразу показалось, таил в себе некий оттенок, и потому, что она, пожалуй, долго на Сергея смотрела, а сейчас отвела взгляд слишком поспешно, словно он выдавал ее, этот оттенок стал для Сергея безусловным — и он смутился. Он откинулся тогда на тахте, голова его ушла в сумрак: отсюда он мог наблюдать и приходить в себя.

Какое-то по-детски отчаянное зампание ощущал он при каждом взгляде на девушку (теперь она старательно не смотрела на него, и это, конечно же, давало

Сергею новое подтверждение) и ребяческую решимость неведомого еще ему самому поступка, сладкого несмертельной, вкусовой опасностью. Он поэтому никак не мог почувствовать себя свободней, расковаться и продолжал лежать, спрятав голову в тень. Тут обнаружил он спасительную пушинку, вроде одуванчиковой, улегушуюся ему на колено. «На счастье...» — вспомнил он приметку времен пионерских лагерей. Пушинка подсказала ему действие, а действие освободило от неловкости: он устроил пушинку на вытянутый палец, взглянул на девушку, как бы намекая, что за желание он загадывает, и тщательно дунул. Пушинка взлетела под потолок, была она отчетливо видна и лишь под самым потолком исчезла, слившись с меловой поверхностью. Сергей упорно всматривался в пустой воздух и вдруг обнаружил пушинку ниже той точки, где собирался ее найти — она степенно падала вниз. Тут ее заметил и сын: взвизгнул и протянул ручку, заговорил много и непонятно. «Подумать только, — сказал Сергей с простой гордостью, — такую мелочь, пушинку, и уже замечает...» Он поймал пушинку и снова дунул...

То ли все, как Сергей, увидели пушинку глазами детства, то ли сын передал свой взгляд на вещи, по все увлеклись необычайно. Пушинка резко взлетала и медленно падала, то сливаясь и исчезая, то становясь зримой, чем обозначала какую-то невидимую в воздухе чересполосицу света и тени. Сергей глупо озирался, а кто-то, первый ее обнаруживший, кричал: «Да вон же она! Вот!» Сын, каждый раз, как видел пушинку, радовался все сильнее; недоумение и растерянность, как шторка, падали на его лицо, когда он терял ее из виду, и радость еще более сильная сменяла эту растерянность. Это усиление чувств от повторения, а не затухание, что казалось Сергею соответствующим человеческой природе, приятно удивляло его в сыне. Пушинка опять исчезла. «Вот она! Я вижу!» — Сергей узнал голос девушки, отвлекся и вдруг увидел все со стороны. Сын при этом видении остался в том же значении. Остальные, взрослые, казалось бы, люди, сидели с полураскрытыми ртами и расплывчатыми улыбками; их взгляды пересекались, соединяясь где-то в центре комнаты в почти невидимой и подвижной точке, и были так напряжены, словно это был спиритический сеанс, где общим телепатическим усилием сообщалось движе-

ние пушинке. На лицах была такая увлеченность, как бы одержимость, почти упоение, словно пытались судьбу, словно ставили состояние... Оттого, что он увидел всех как бы открывшимися самой незащитной и нелепой своей сущностью, Сергей ощутил унижение, благодарность и неловкость подглядывания. Он поймал пушинку и задержал ее. Некоторый миг присутствующие как бы возвращались к действительности и, когда он заметил первый отблеск узнавания, сказал: «Вот ведь... взрослые люди...» Все засмеялись без смущения,— тогда ему стало ясно, что он преувеличил, как всегда, и, как всегда, ему стало неприятно от этого. «Ну, нам пора»,— сказал притель, и это «нам» резануло Сергея и совсем отрезвило.

...Он пошел проводить их до станции, уже скучный и удрученный. Все произошло, впрочем, так, как должно было произойти: им с самого начала предстояло уехать вдвоем, но для Сергея уже несправедливостью и обидой было, что вот они уходят вместе, приедут в город, где придут куда-нибудь и останутся вдвоем... Сергей вроде ревновал, но не сознался бы себе в этом. Ему становилось все скучнее, потому что начинало казаться, что он сам все надумал про значительную связь между собой и ею, что ничего-то такого не было, что она во всяком случае ничего этого не ощущала, а он, быть может, выдавал себя какими-нибудь нелепыми движениями, и она посмеивалась над ним, а оставшись вдвоем с приятелем, они посмеются над ним вместе... Это было унижительно, резко менять восприятие — только что было радужное чувство, тоже из детских, забытых.

Так, уже молча, брели они к станции. Ветер подталкивал их в спину, погонял. Воздух был удивительно прозрачен, все дали — как бы обведенными. Красное солнце лежало на горизонте и просвечивало все насквозь, словно пронзая предметы на своем пути. Несколько длинных и узких облаков, казалось, были воткнуты в солнце, как красные стрелы или красные перья. Засохшее дерево около склада стройматериалов, уродливая коряга, выглядела жутко и красиво, черное на красном закате, так красиво, что на картине это было бы безвкусно. Было, в общем, холодно, такой был ветер, и, может поэтому, людей совсем не было, а те, что были, как-то неподвижно стыли на ветру и, каза-

лось, именно они создавали ощущение безлюдности и, не будь их, его бы не было. Ветер мчался по рельсам, гнал щепу и мусор оттуда, где разгружались товарные вагоны, и еще — и это показалось ему бесконечным, когда он увидел, — ветер гнал большой лист картона с ободранными краями, ветер переворачивал его, лист вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи и прокатывался, лежа и пыля, и снова его переворачивало и, на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг, он замирал и, дрожа, сопротивлялся ветру. Они по-прежнему молчали, теперь — стоя на платформе. Подходила электричка, и они пожимали друг другу руки, почему-то сначала приятель сунул свою руку (из-под мышки у него глупо торчал пистолет), а потом уже она подала свою. И как-то так подала она ему руку и пожала и посмотрела, что это все он — дурак, а что-то было, что-то будет, у него защемило, он старался сдержаться, но не мог — заволокло глаза, и видел он мутно, боясь сморгнуть слезу. Электричка трогалась, они махали из вагона — она махала, а приятеля он не видел, тот исчез со своим пистолетом, растоялся, его и не было. И электричка увезла ее в сторону, в какую дул ветер, на самом деле — в город.

Он еще постоял немного и был счастлив. Мысль о том, что он обязательно увидит ее в городе, неотчетливо существовала в нем. Еще он с внезапной, резкой нежностью подумал о жене и сыне, о доме, куда он сейчас вернется, и снова о жене, что он сейчас ее увидит, как после долгой разлуки...

Медленно побрел он назад, против ветра, мимо склада и мимо разгружавшихся вагонов, и мусор летел ему в лицо, «какой большой ветер», он переходил пути, и в этом перешагивании рельс было такое одиночество и во всей этой пустоте, обдутости кругом, «напал на наш остров», им овладело ощущение отрезанности от мира, и это было хорошо, остров... действительно, остров!.. Гладкая отмель, и желтое мутное море, и хибарки на тонких ногах, и крыши из широких жестких листьев, «и снял с домов кры-ши», ветер гнал большой лист картона, тот вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи и прокатывался, лежа и пыля, и снова его переворачивало, и на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и, дрожа, сопротивлялся ветру...

А вот его тихий дом, и крыша цела. Его дом, его крепость — второй этаж... Сергей вспомнил, как летел его этаж, тогда еще пошел град, он побил все всходы... «И снял с домов кры-ши, как с молока пе-ну...» Его пробирал озноб. Он поднялся на второй этаж — его трясло...

Вечерами, когда он, опустошенный, с легким, нервальным звоном в голове, спускался вниз и пил с женой чай, он думал, что именно это называется счастьем. Он включал приемник, и французенка пела свою песенку, чай был крепок и горяч, жена, бесконечное его знакомство, не то шила, не то пила с ним чай — была рядом, и никуда не надо было Сергею уезжать от нее, и сын еще не спал и протягивал им игрушку... И Сергею казалось, что это тот самый мир и покой, который он будет вспоминать всю свою жизнь — ведь жизнь неизвестно как еще может повернуться.

1963—1964

## СОДЕРЖАНИЕ

НЕСКОЛЬКО НАПУТСТВЕННЫХ СЛОВ . . . . .	3
ОДНА СТРАНА (ПУТЕШЕСТВИЕ БОРИСА МУРАШОВА) . .	5
ПУТЕШЕСТВИЕ К ДРУГУ ДЕТСТВА (НАША БИОГРАФИЯ) .	71
САД . . . . .	129
ЖИЗНЬ В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ (ДАЧНАЯ МЕСТНОСТЬ) . .	187



*Андрей Георгиевич Битов*

ДАЧНАЯ МЕСТНОСТЬ

Редактор *С. В. Музыченко*

Художник *И. А. Огурцов*

Художественный редактор *Э. А. Розен*

Технический редактор *Л. В. Шендарева*

Корректор *В. Л. Данилова*

■  
Сдано в набор 11/IV-1967 г. Подписано к печати 31/VIII-1967 г. Формат бум. 84×108<sup>1/2</sup>. Физ. печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,42. Изд. инд. ЛХ-152. А12330. Тираж 50 000 экз. Цена 48 коп. Бум № 2.

■  
Издательство «Советская Россия».  
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

■  
Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома  
Комитета по печати при Совете Министров  
РСФСР, г. Электросталь Московской области,  
Школьная, 25, Заказ № 304.